Чрево Парижа

Автор:
Эмиль Золя

Чрево Парижа

Эмиль Золя

Ругон-Маккары #3Эксклюзивная классика (АСТ)

Парижский Центральный рынок. Огромное, фантастическое, роскошное царство чревоугодия, над которым плывут умопомрачительные ароматы сыров и колбас, фруктов, цветов и сотен других произведений природы и поварского искусства. В этом царстве кипит жизнь – правят и соперничают бойкие красавицы торговки, подрастают маленькие гамены и их смешливые подружки, наживаются состояния, разносятся и упоенно смакуются сплетни, спорят о политике в кабачках. Именно здесь пытается укрыться от полиции бежавший с каторги и затерявшийся в бесконечном лабиринте парижских улиц молодой революционер Флоран. Но укроет ли его «чрево Парижа»?..

Эмиль Золя

Чрево Парижа

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

I

По дороге в Париж, среди глубокой тишины и безлюдья, тащились возы огородников, мерно покачиваясь на ухабах, и громыханье колес эхом отдавалось между домами, спавшими по обе стороны шоссе за смутно видневшимися рядами вязов. На мосту Нейи к восьми возам с репой и морковью, выехавшим из Нантера, присоединились еще две повозки – одна с капустой, другая с горохом; лошади сами плелись вперед, понурив головы, безостановочным и ленивым шагом, который замедлялся еще больше оттого, что они шли в гору. Лежа ничком на доверху загруженных овощами подводах, дремали возчики, обмотав вокруг руки вожжи и накрывшись шерстяными плащами в черную и серую полоску. Свет газового фонаря, прорывая пелену тьмы, озарял то гвозди на подметке башмака, то синий рукав блузы, то край картуза, мелькавшие в этом исполинском цветении красных пучков моркови, белых пучков репы и буйной зелени гороха и капусты. А на дороге, на соседних дорогах, впереди и позади, далекий гул колес возвещал приближение таких же караванов – целый транспорт тянулся в два часа ночи сквозь мрак и непробудный сон, баюкая темный город мерным шумом возов, на которых везли ему пищу.

Вереницу их возглавлял Валтасар, лошадь г-жи Франсуа, – необыкновенно раскормленная коняга. Валтасар брел в полудреме, сонно шевеля ушами, когда вдруг, подле улицы Лоншан, вздрогнул от испуга и стал как вкопанный. Шедшие следом лошади стукнулись головами о задки повозок, и вся вереница остановилась под лязг железа и ругань проснувшихся возчиков. Г-жа Франсуа, сидевшая прислонясь к доске передка, всматривалась в темноту, но ничего не могла разглядеть в скудном свете висевшего слева квадратного фонарика, который освещал только лоснящийся бок Валтасара.

– Эй, тетка, поехали! – крикнул один из возчиков, привстав на колени среди своей репы. – Это ж валяется какая-нибудь пьяная скотина.

Госпожа Франсуа нагнулась: она заметила справа, почти под ногами лошади, что-то черное, загораживавшее путь.

– Нельзя же давить народ, – сказала она, спрыгнув наземь.

Перед ней лежал человек, растянувшись во весь рост, разметав руки и уткнувшись лицом в пыль. Он казался необычайно длинным, тощим, как жердь: просто чудо, что Валтасар не наступил на него копытом и не сломал его пополам. Г-жа Франсуа подумала, не мертв ли он; она присела перед ним на корточки, взяла за руку и почувствовала, что рука теплая.

– Ну-ка, приятель! – тихонько сказала она.

Однако возчики выражали нетерпение. Тот, что стоял на коленях среди овощей, снова крикнул осипшим голосом:

– Трогай, тетка! Нажрался вина, проклятый боров! Спихни его в канаву!

Между тем человек открыл глаза. Он не шевелился и смотрел на г-жу Франсуа с испуганным видом. Она решила, что, должно быть, он и в самом деле пьян.

– Вам нельзя здесь оставаться – задавят, – сказала она. – Куда вы шли?

– Не знаю… – чуть слышно ответил он.

В глазах его мелькнула тревога, и он с усилием проговорил:

– Я шел в Париж и упал, не помню как…

Теперь она его разглядела: он был жалок в своих черных брюках и черном сюртуке, превратившихся в отрепье и едва прикрывавших сухое, костлявое тело. Картуз из грубого черного сукна, опасливо надвинутый на самые брови, оставлял открытыми большие карие глаза, до странности кроткие на этом суровом, изнеможенном лице. Г-же Франсуа подумалось, что он, пожалуй, слишком уж немощен для того, чтобы так напиваться.

– А в какое место Парижа вы направлялись? – спросила она.

Он ответил не сразу: его смущал допрос. Поколебавшись, он нерешительно сказал:

– В ту сторону, неподалеку от Центрального рынка.

С огромным трудом он встал на ноги и, по-видимому, собирался продолжать путь. Огородница заметила, как, зашатавшись, он оперся на оглоблю повозки.

– Устали?

– Да, очень, – прошептал он.

Тогда, подталкивая его к повозке, она проговорила недовольным, нарочито резким тоном:

– Ну-ка, живо, залезайте! Мы теряем из-за вас время! Я еду на рынок и выгружу вас там заодно с моими овощами.

А так как он отказывался, она приподняла его своими сильными руками, подсадила на груду моркови и репы и, совсем рассердившись, воскликнула:

– Да заткнитесь же вы наконец! Вы, любезный, мне просто надоели… Я ведь вам толкую, что еду на рынок! Спите, я разбужу вас.

Она взобралась на повозку и села боком, прислонясь к доске передка и держа в руках поводья Валтасара, который снова поплелся, засыпая на ходу и шевеля ушами. Остальные повозки пошли следом, вереница возов медленно тронулась в путь сквозь тьму; грохот колес опять отдавался эхом среди спящих домов. Возчики снова задремали под своими толстыми плащами. Тот, кто окликнул огородницу, улегся, ворча:

– Вот наказанье! Очень нужно подбирать пьяниц. Ну и упрямая же вы, тетка!

Повозки катились, лошади, понурив головы, шли сами. Человек, которого подобрала г-жа Франсуа, лежал на животе, его длинные ноги совсем завалила репа; лицо его тонуло в моркови, пышная ботва которой торчала во все стороны; раскинув руки, он вцепился из последних сил в огромную груду овощей, боясь свалиться на землю при толчке, и смотрел на тянувшиеся перед ним две бесконечные нити газовых фонарей, которые все сближались, сливаясь там, в вышине, с бесчисленным множеством других огней. На горизонте плавало громадное белое марево, окутывая спящий Париж лучистой дымкой от этих светящихся точек.

– Я живу в Нантере, фамилия моя Франсуа, – заговорила через несколько минут огородница. – С тех пор как я потеряла мужа, приходится самой каждое утро ездить на рынок. Нелегкое дело, сами понимаете! А вы кто будете?

– Моя фамилия Флоран… Я издалека, – смущенно ответил незнакомец. – Уж вы меня извините, но я так устал, что мне трудно говорить.

Он не хотел поддерживать разговор. Огородница замолчала, слегка отпустив поводья на спину Валтасара, который уверенно продолжал свой путь, словно старожил, знающий каждый камень на мостовой. Устремив взгляд на необъятное зарево парижских огней, Флоран вспоминал то, о чем он никому не мог бы рассказать. Бежав из Кайенны, куда его услали после декабрьских дней, он скитался два года по Голландской Гвиане, одержимый безумным желанием вернуться на родину, одолеваемый страхом перед императорской полицией, и наконец увидел великий город, столь оплакиваемый в разлуке, столь желанный и милый. Вот где он скроется, где заживет прежней мирной жизнью. Полиция ни о чем не узнает… К тому же считается, что он умер. И он вспомнил свой приезд в Гавр, когда обнаружил всего пятнадцать франков, завязанных в уголке носового платка. Денег хватило на проезд до Руана. Из Руана, когда осталось около тридцати су, он шел пешком. В Верноне купил на последние два су хлеба. Что было дальше – он не помнил. Кажется, он несколько часов проспал в канаве; как будто показывал какому-то жандарму документы, которыми запасся. Все это смешалось в его голове. От Вернона он шел голодный; на него находили приступы ярости и отчаяния, тогда он рвал листья на живых изгородях, мимо которых брел, жевал их и все шел и шел; тело сводила судорога, его охватывал внезапный страх, желудок сжимался, в глазах мутилось, а ноги сами шагали вперед помимо его воли, словно влекомые туда, где маячил за далью, за далекой далью, за чертой горизонта, образ Парижа, который звал, который ждал его. Когда он добрел до Курбвуа, стояла темная ночь. Париж, похожий на лоскут звездного неба, упавший на край черной земли, показался ему суровым, как будто недовольным его возвращением. Тогда им овладело малодушие, он спустился к реке, ноги у него подкашивались. Перейдя мост Нейи, он оперся на парапет, наклонился над Сеной, катившей свои чернильные волны между темнеющими громадами берегов; красный сигнальный огонь на воде следил за ним кровавым глазом. Теперь оставалось взять подъем, добраться до Парижа, видневшегося там, в вышине. Шоссе показалось ему нескончаемо длинным. По сравнению с этим сотни пройденных лье были пустяком, – остаток дороги приводил его в отчаяние: он никогда не доберется до вершины в короне огней. Во всем своем безмолвии и мраке тянулось перед ним ровное шоссе с рядами высоких деревьев по обочинам и низенькими домами, с широкими сероватыми тротуарами, рябыми от теней, отбрасываемых ветвями, с темными порами поперечных улиц, и только газовые фонари, прямые, равномерно мелькавшие, только они оживляли желтыми язычками пламени эту мертвую пустоту; Флоран не подвигался ни на шаг вперед: шоссе становилось все длинней и длинней,

отодвигало Париж все дальше, в глубь ночи. Ему чудилось, что одноглазые фонари справа и слева убегают вперед, унося с собой дорогу; увлекаемый водоворотом огней, он зашатался и тяжело рухнул на мостовую.

Теперь он медленно катил на ложе из зелени, которое казалось ему мягким, как перина. Он высвободил подбородок, чтобы удобнее было смотреть на лучистую дымку, которая все росла над черными крышами, еле видными на горизонте. Он возвращался домой, его везли, ему оставалось только отдаться плавному покачиванию повозки; теперь приближение к цели не требовало усилий, не причиняло страданий, его мучил только голод. Проснулся голод, нестерпимый, свирепый. Тело его спало; он ощущал в себе один лишь желудок, который сводило спазмой, жгло каленым железом. От свежего запаха овощей – ведь он утопал в них, – от крепкого запаха моркови его мутило почти до обморока. Он изо всех сил прижимался грудью к своей мягкой постели из пищи, стараясь придавить желудок, заглушить его урчание. А позади девять других повозок с горами капусты, горами гороха, грудами артишоков, салата, сельдерея, порея, казалось, медленно надвигаются на него, хотят похоронить его, умирающего от голода, под лавиной жратвы. Вдруг обоз остановился, загалдели грубые голоса: то была застава, таможенники осматривали повозки. Затем Флоран въехал в Париж, лежа на моркови, без чувств, со стиснутыми зубами.

– Эй, вы там! – вдруг окликнула его г-жа Франсуа.

И так как Флоран не шевелился, она взобралась наверх и растолкала его. Тогда Флоран сел. Проснувшись, он не почувствовал голода; он был как бы в дурмане. Огородница помогла ему выбраться из повозки, спросив:

– Ну, как, поможете разгрузиться?

Он согласился. Какой-то толстяк в фетровой шляпе, с бляхой на левом отвороте пальто сердито постукивал тростью по тротуару.

– Живей, живей! Нельзя ли поторопиться! Поближе подайте повозку. У вас сколько метров? Четыре, так?

Он выдал квитанцию г-же Франсуа, которая вынула из полотняного кошелька горсть монет по два су. А толстяк отправился дальше покрикивать и постукивать своей тростью. Огородница взяла Валтасара под уздцы, подталкивая его и

осаживая повозку колесами вплотную к тротуару. Затем, отмерив соломенными жгутами положенные ей четыре метра на тротуаре, она откинула стенку задка и попросила Флорана передавать ей овощи, пучок за пучком. Она аккуратно раскладывала их на отведенной ей площадке, придавая своему товару привлекательный вид и располагая ботву так, что каждую кучку овощей обрамляла кайма из зелени; с необыкновенной быстротой она соорудила настоящую выставку, которая в сумраке напоминала ковер с симметричными красочными пятнами. Когда Флоран подал ей огромную связку петрушки, обнаруженную на самом дне повозки, г-жа Франсуа попросила его еще об одной услуге:

– Окажите любезность, постерегите мой товар, пока я поставлю повозку в сарай… Это в двух шагах отсюда, на улице Монторгей, в «Золотой бусоли».

Он заверил ее, что она может спокойно уйти. От движений ему только становилось хуже; едва он начал ходить, как почувствовал, что голод снова просыпается. Флоран прислонился к груде капусты, рядом с товаром г-жи Франсуа, внушая себе, что так ему хорошо, что он не тронется с места, будет ждать. В голове его, казалось, царила совершенная пустота, и он не вполне отдавал себе отчет в том, где находится. В начале сентября по утрам уже бывает совсем темно. Ряды фонарей вокруг Флорана убегали вдаль, обрываясь во тьме. Он находился на краю широкой улицы, которую сейчас не узнавал. Она уходила куда-то очень далеко, в глубокую ночь. А он не различал ничего, кроме овощей, которые сторожил. За ними, вдоль мостовой, наплывали друг на друга неясные очертания каких-то громоздких предметов. Посреди шоссе вставали крупные мутно-серые контуры повозок, загораживающих улицу, и из конца в конец доносилось дыхание, – шумное дыхание вереницы невидимых за мглой лошадей в упряжках. Перекликающиеся голоса, стук деревянных частей или звон упавшей на камни мостовой железной цепи, глухой шорох ссыпаемых овощей, затихающее громыханье повозки, осаживаемой вплотную к тротуару, – все наполняло еще сонный воздух тихим ропотом чьего-то напоенного звуками мощного пробуждения, близость которого уже ощущалась в этом трепетном сумраке. Обернувшись, Флоран обнаружил за своими кочанами капусты человека, плотно закутанного, словно запакованного, в плащ; он храпел, уронив голову на корзину со сливами. Немного поближе, слева от себя, Флоран заметил мальчика лет десяти, дремавшего с ангельской улыбкой на устах в ложбинке между двумя горами цикория. И по-настоящему бодрствовали на тротуаре лишь фонари, они раскачивались в чьих-то невидимых руках, озаряя при каждом своем броске людей и овощи, которые, смешавшись в кучу, спали здесь в ожидании прихода дня. Но особенно поразили Флорана гигантские павильоны по

обеим сторонам улицы: их крыши, высясь одна над другой, казалось, все росли, ширились и тонули в светящемся облаке огней. В замутненном сознании Флорана они представлялись вереницей чертогов, огромных и правильных, кристально-воздушных, на фасадах которых зажигались тысячи огненных полос, – то был непрерывный, бесконечный ряд освещенных решетчатых ставен. Эти узкие желтые поперечины образовывали между тонкими гранями столбов лесенки света, которые тянулись до темной линии нижних кровель, одолевали нагромождение верхних крыш, прокладывая в толще зданий ажурные каркасы огромных залов, где под желтыми отблесками газа мелькали беспорядочные груды еле различимых, серых, неподвижных предметов. Флоран отвернулся, раздраженный тем, что не знает, где находится, взбудораженный этим исполинским и зыбким виденьем; когда же он снова поднял глаза, то увидел светящийся циферблат и серую громаду церкви Святого Евстафия. Это его чрезвычайно удивило. Он был у перекрестка Святого Евстафия.

Тем временем вернулась г-жа Франсуа. Она сердито возражала какому-то человеку с мешком на спине, который хотел купить у нее морковь по одному су за пучок:

– Помилуйте, Лакайль, надо же меру знать… Вы продаете ее парижанам по четыре, по пять су, – не спорьте, пожалуйста… По два су отдам, если желаете.

А когда человек с мешком все-таки ушел, она сказала, обращаясь к Флорану:

– Право же, люди думают, что все это само собой растет на земле… Пусть поищет морковь по одному су, пьяница он этакий… Увидите, он еще вернется.

Затем, усевшись рядом с Флораном, спросила:

– Послушайте, ведь если вы давно не были в Париже, вы, верно, не знаете и нового Центрального рынка? Уж лет пять как его выстроили… Видите павильон, что подле нас? Это павильон фруктов и цветов; немного подальше – рыба, птица, а позади – овощной ряд, масло, сыр… С этой стороны – шесть павильонов; затем по другую сторону, напротив, – еще четыре: мясо, требушина, птичий ряд… Вот какая махина, да только зимой здесь собачий холод. Говорят, будто построят еще два павильона, – снесут дома вокруг Хлебного рынка. Ну как, приходилось вам все это видеть?

– Нет, – ответил Флоран, – я был за границей… А эта большая улица, что перед нами, как называется?

– Это новая улица, улица Новый мост, она начинается от Сены и выходит сюда, к улицам Монмартр и Монторгей… Будь сейчас светло, вы бы сразу освоились.

Она встала, заметив, что над ее репой наклонилась какая-то женщина.

– Это вы, матушка Шантмес? – ласково спросила она.

Флоран смотрел на убегающую вниз улицу Монторгей. Именно здесь, в ночь на 4 декабря, его схватили полицейские. Он шел по бульвару Монмартр, часа в два, медленно шагая в гуще толпы, и улыбался тому, что Елисейский дворец выстроил на улицах солдат, дабы народ наконец принял свое правительство всерьез, как вдруг солдаты стали стрелять в упор и за несколько минут очистили тротуары. Сбитый с ног Флоран упал на углу улицы Вивьен; он больше ничего не сознавал, обезумевшая толпа пронеслась по его телу, обуянная неистовым страхом перед раздавшимися выстрелами. Когда вокруг все смолкло и Флоран опомнился, он попытался встать. На нем лежало тело молодой женщины в розовой шляпке; соскользнувшая с ее плеч шаль открыла мелко плоенную шемизетку. Повыше груди шемизетку пробили две пули; Флоран осторожно отодвинул тело молодой женщины, чтобы высвободить свои ноги, и тогда из дырок в шемизетке хлынула кровь двумя струйками прямо ему на руки. Он вскочил и без памяти бросился прочь, потеряв шляпу; руки у него были в крови. До вечера он бессмысленно слонялся по городу, непрестанно видя перед собой молодую женщину, лежащую на его коленях, ее залитое бледностью лицо, ее большие, широко раскрытые голубые глаза, страдальческую складку у губ, казалось, с изумлением спрашивающих: умерла? здесь? и так быстро? Флоран был застенчив; в тридцать лет он не смел посмотреть в лицо женщине, а это лицо врезалось в сердце навеки. Словно он потерял жену. Вечером, еще не опомнившись от страшных картин этого дня, он неожиданно для себя попал в кабачок на улице Монторгей, где какие-то люди за стаканом вина сговаривались строить баррикады. Он пошел за ними, помог выломать камни из мостовой и, устав от блужданий по улицам, уселся на баррикаде, мысленно повторяя, что, если придут солдаты, он будет драться. При нем не было даже ножа; шляпу он так и не нашел. Часам к одиннадцати он заснул; во сне он видел две круглые дырочки на белой, мелко плоенной шемизетке, глядевшие на него, словно глаза, залитые слезами и кровью. Вдруг он проснулся: его крепко держали четверо полицейских; они стали избивать Флорана, не жалея кулаков. Люди, строившие

баррикаду, убежали. А полицейские, заметив на руках Флорана кровь, пришли в ярость и чуть его не задушили. Это была кровь той молодой женщины.

Погруженный в воспоминания, Флоран машинально поднял глаза на светящийся циферблат св. Евстафия, но даже не увидел стрелок.

Было около четырех часов утра. Рынок все еще спал. Г-жа Франсуа стоя препиралась с матушкой Шантмес по поводу цены пучка репы. Тут Флоран вспомнил, что его чуть не расстреляли здесь, у стены церкви св. Евстафия. Как раз на этом месте пули взвода жандармов раздробили черепа пяти несчастным, захваченным у баррикады близ улицы Гренета. Пять трупов валялись на тротуаре там, где сегодня лежит, кажется, груда розовой редиски. Флоран избежал расстрела, потому что сопровождавшие его полицейские были только при саблях. Его препроводили в ближайший полицейский участок, оставив начальнику участка клочок бумажки со следующей нацарапанной карандашом строчкой: «Арестован с окровавленными руками. Весьма опасен». До утра его таскали из одного участка в другой. Клочок бумажки сопутствовал ему всюду. На него надели наручники, следили, как за буйнопомешанным. В участке на улице Ленжери пьяные солдаты решили его расстрелять; они уже собрались с ним расправиться, когда пришел приказ доставить арестованных в дом заключения при полицейской префектуре. Через день он попал в каземат форта Бисетр. С этих пор его не покидали муки голода; он узнал его в каземате, и отныне голод был с ним неразлучен. В это глубокое подземелье согнали около ста человек, они сгрудились в духоте, с жадностью поедая жалкие куски хлеба, которые им бросали, словно зверям в клетке. Когда Флоран предстал перед своим следователем, без каких бы то ни было свидетелей, без защитника, ему предъявили обвинение в том, что он член некоего тайного общества; когда же он поклялся, что это неправда, следователь вынул из его дела клочок бумажки, на котором было нацарапано карандашом: «Арестован с окровавленными руками. Весьма опасен». Этого оказалось достаточно. Его приговорили к ссылке. Спустя шесть недель, уже в январе, его разбудил ночью тюремный надзиратель и запер во дворе вместе с другими заключенными – их было свыше четырехсот. Через час этот первый арестантский этап был направлен в плавучую тюрьму и дальше в ссылку, закованный в ручные кандалы и сопровождаемый двумя рядами жандармов с заряженными ружьями. Они перешли через Аустерлицкий мост, миновали линию бульваров и добрались до Гаврского вокзала. Была веселая карнавальная ночь; окна ресторанов на бульварах сияли огнями; подле улицы Вивьен, в том самом месте, где ему с тех пор всегда виделась убитая незнакомка, чей образ он унес с собой, Флоран заметил в глубине кареты женщин в полумасках, с обнаженными плечами, услышал смеющиеся голоса;

дамы сердились, что проезд закрыт, и брезгливо отворачивались от «каторжников, которым, право же, конца нет». По дороге от Парижа до Гавра заключенные не получили ни куска хлеба, ни стакана воды: им забыли выдать накануне отъезда их паек. Они поели только через тридцать шесть часов, когда их запихнули в трюм фрегата «Канада».

Да, голод был с ним неразлучен. Флоран перебирал свои воспоминания и не припомнил ни одного часа, когда бы ему не хотелось есть. Он высох, желудок его сузился, от Флорана остались только кожа да кости. И вот он вновь видит Париж – откормленный, великолепный, заваленный пищей в предрассветном мраке; он въехал в этот город на ложе из овощей; он метался здесь среди неизведанных дебрей жратвы, которая кишела вокруг, которая искушала его. Итак, веселая ночь карнавала длилась семь лет! Он снова видел перед собой сияющие окна на бульварах, хохочущих женщин, город-чревоугодник, покинутый в ту далекую январскую ночь; и ему казалось, что все это разрослось, расцвело пышным цветом в грандиозности рынка, чье исполинское дыхание, затрудненное от непереваренной вчерашней пищи, он уже различал.

Матушка Шантмес решилась купить двенадцать пучков репы. Она собрала их в передник на животе, отчего ее округлый стан еще больше округлился; так она и стояла, продолжая что-то говорить своим тягучим голосом. Когда она ушла, г-жа Франсуа, снова усевшись рядом с Флораном, сказала:

– Бедная матушка Шантмес, ей ведь не меньше семидесяти двух. Я была еще девчонкой, а она уже покупала репу у моего отца. И притом ни души родных, только какая-то шлюшка, которую она подобрала невесть где и которая ее изводит… Вот так она и перебивается, торгует по мелочам, пока еще зарабатывает свои сорок су в день… Уж я-то не могла бы целый день торчать на тротуаре в этом чертовом Париже. Была бы у нее хоть родня какая-нибудь.

Флоран не отзывался; она спросила:

– У вас, наверное, семья в Париже?

Он как будто не расслышал вопроса. В нем проснулось недоверие. Голова у него была полна рассказов о полиции, о шпиках, подстерегающих на каждом углу, о женщинах, которые выдают тайны, выведанные у бедных, преследуемых людей. Она сидела совсем близко от него; пожалуй, это вполне порядочная женщина:

спокойное лицо с крупными чертами, стянутый над бровями черно-желтый фуляр. Лет тридцати пяти на вид, эта женщина была чуть-чуть полна, но красива той красотой, которую придавала ей жизнь на свежем воздухе и энергия, смягченная выражением нежного сочувствия в ее черных глазах. Конечно, она горела любопытством, но любопытством самым доброжелательным.

Не обижаясь на молчание Флорана, она продолжала:

– Был у меня в Париже племянник. Вот только пошел не по той дорожке, запутался… Оно, конечно, хорошо, если знаешь, что есть у кого остановиться. Ваши родные удивятся, верно, когда вас увидят. А ведь приятно вернуться домой, правда?

Продолжая разговаривать, она не сводила глаз с Флорана, несомненно тронутая его необычайной худобой; несмотря на его постыдные черные лохмотья, она угадывала в нем «образованного» и стеснялась сунуть ему в руку серебряную монету.

Наконец она робко проговорила:

– Если покамест вы в чем-нибудь нуждаетесь…

Но он отказался наотрез, гордо и смущенно: он ответил, что у него есть все необходимое, что он знает, куда идти. Она, по-видимому, этому обрадовалась и несколько раз, словно желая успокоить себя относительно его будущей судьбы, повторила:

– Ах, вот это хорошо, значит, вам нужно только дождаться рассвета.

Над головой Флорана, в углу фруктового павильона, зазвонил большой колокол. Его медленные, мерные удары, казалось, мало-помалу разгоняли сон, заполонивший улицу. По-прежнему подъезжали повозки; все громче раздавались крики возчиков, щелканье кнута, тяжкий стон мостовой под железными ободьями колес и копытами лошадей; и теперь повозки подвигались вперед толчками, выстроившись вереницей, тянувшейся в глубь непроницаемой серой мглы, откуда доносился смутный гул. Из конца в конец по всей улице Новый мост шла разгрузка, возы откатили вплотную к канавам, лошади стояли

неподвижно, тесными рядами, как на ярмарке. Внимание Флорана привлекла огромная повозка мусорщиков, доверху полная великолепной капусты, – ее с большим трудом удалось осадить у тротуара: гора капусты была выше высоченного фонарного столба с газовым рожком, что стоял сбоку и ярко освещал ворох широких листьев, свисавших, словно зубчатые и гофрированные лоскутья темно-зеленого бархата. Молоденькая крестьянка, лет шестнадцати, в казакине и голубом полотняном чепце, взобралась на подводу и, стоя по плечи в капусте, хватала один кочан за другим и бросала вниз кому-то невидимому в темноте. По временам девчонка, затерявшаяся, утонувшая в массе овощей, оступалась и исчезала, погребенная под обвалом; затем розовый носик снова показывался в гуще плотной зелени; она хохотала, и капустные кочаны снова начинали летать между газовым фонарем и Флораном. Он машинально их считал. Когда подвода опустела, ему стало скучно.

Теперь груды выгруженных овощей на тротуарах доходили до самого шоссе. Около каждой огородники оставили для прохода узкую дорожку. Весь широкий тротуар, заваленный от края до края, простирался вдаль, покрытый темными холмиками овощей. Пока еще, при неверном, колеблющемся свете фонарей, видны были лишь мясистые цветы артишоков, нежная зелень салата, розовые кораллы моркови, матово-белая, как слоновая кость, репа; и эти вспышки ярких красок пробегали вдоль гряды овощей вместе с бегущими лучами фонарей. Тротуар заполнялся; толпа оживилась, люди ходили между выставленными товарами, останавливаясь, болтая, перекликаясь. Громкий голос издалека кричал: «Эй, кто тут с цикорием!» Открылись ворота павильона овощей; перекупщицы из этого павильона, в белых чепчиках, в косынках, повязанных поверх черных кофт, выбегали, подколов подол юбки булавками, чтобы не испачкаться, и запасались товаром на день, нагружая своими покупками большие корзины, поставленные носильщиками на землю. Между павильоном и шоссе все стремительнее сновали взад и вперед корзины, плывя над сталкивающимися головами, над площадной руганью, над гомоном продавцов, готовых до хрипоты спорить из-за одного су. И Флоран изумлялся, как эти загорелые огородницы, повязанные полосатыми полушелковыми платками, сохраняют спокойствие в многословном торгашеском гаме рынка.

Позади него, на тротуаре улицы Рамбюто, продавали фрукты. Ровными рядами выстроились крытые корзины, низенькие плетенки, укутанные в холстину или солому; доносился запах переспелой мирабели. Нежный протяжный голос, который Флоран слышал уже давно, заставил его обернуться. Он увидел маленькую, прелестную смуглянку, которая торговалась, усевшись на земле:

– Ну скажи, Марсель, отдашь за сто су, а?

Человек, закутанный в плащ, отмалчивался, и молодая женщина, выждав пять долгих минут, опять начинала:

– Ну так как, Марсель, значит, сто су за эту корзину да четыре франка за ту, другую, стало быть, я тебе должна дать девять франков, верно?

Опять молчание.

– Так сколько же тебе дать?

– Эх ты! Десять франков, сама знаешь, я тебе уже говорил… А что твой Жюль, Сарьетта? От него, видно, мало толку?

Молодая женщина засмеялась, вынимая полную пригоршню монет.

– Да ну! Жюль любит понежиться в постельке… Он говорит, работа не мужское дело.

Она заплатила и унесла обе корзинки в уже открывавшийся павильон фруктов. Здания рынка еще сохраняли темную воздушность контуров с тысячами огненных полос от рядов сквозных ставен; крытые галереи заполнялись народом, а дальние павильоны еще были безлюдны, окруженные возрастающим гуденьем тротуаров. На перекрестке св. Евстафия булочники и виноторговцы поднимали железные шторы; красные фасады лавок буравили зажженными газовыми рожками тьму вдоль серых домов; Флоран разглядывал булочную на левой стороне улицы Монторгей, всю заваленную, словно позолоченную булками сегодняшней выпечки; ему казалось, что он чувствует вкусный запах теплого хлеба. Это было в половине пятого.

Между тем г-жа Франсуа сбыла товар. У нее оставалось еще несколько пучков моркови, когда вновь явился с мешком Лакайль.

– Ну как, пойдет по одному су? – сказал он.

– Я так и думала, что мы с вами еще увидимся, – спокойно ответила огородница. – Что ж, берите остаток. Здесь семнадцать пучков.

– Это будет семнадцать су.

– Нет, тридцать четыре.

Они сговорились на двадцати пяти. Г-жа Франсуа торопилась уходить. Когда Лакайль удалился, унося в своем мешке морковь, она сказала Флорану:

– Видите, он следил за мной. Этот старик уторговывает все, что ни есть на рынке; иной раз ждет последнего удара колокола, чтобы купить товару на четыре су… Ох уж эти парижане! Поднимут свару из-за двух медяков, а потом оставят последнюю одежонку в кабаке.

Когда г-жа Франсуа говорила о Париже, в каждом слове ее звучали ирония и пренебрежение, она рассуждала о Париже, как о каком-то далеком, совершенно нелепом и достойном презрения городе, где она соглашалась бывать только ночью.

– Ну вот, теперь я могу уходить, – продолжала она, снова усаживаясь подле Флорана на овощи соседки.

Флоран понурил голову; он только что совершил кражу. Когда Лакайль ушел, Флоран заметил упавшую на землю морковку. Он ее подобрал и зажал в правом кулаке. За его спиной пряно пахли связки сельдерея, груды петрушки. Он задыхался.

– Я собираюсь уходить, – повторила г-жа Франсуа.

Она сочувствовала этому незнакомцу, понимала, что он мучается здесь на тротуаре, ведь он даже не сдвинулся с места. Она снова предложила свою помощь; но он и на этот раз отказался с какой-то ожесточенной гордостью. Он даже поднялся и стоял перед ней, чтобы доказать, что он еще совсем молодцом. А едва она отвернулась, он сунул морковку в рот. Но ему пришлось потерпеть немножко, как исступленно ни хотелось вонзить в нее зубы; г-жа Франсуа снова глядела ему в лицо, продолжала расспрашивать с присущим ей добрым

любопытством. Флоран только мотал головой в ответ. Затем потихоньку, медленно он сжевал свою морковку.

Огородница уже было решилась уйти, когда рядом с ней прозвучал громкий голос:

– Здравствуйте, госпожа Франсуа!

Это был худой, ширококостный юноша с крупной головой, бородатый, с тонким носом и небольшими ясными глазами. Его черная фетровая шляпа порыжела, потеряла форму, а наглухо застегнутое широченное пальто, некогда светло-коричневое, теперь полиняло от дождей, оставивших на нем широкие зеленоватые полосы. Чуть-чуть сутулясь, подрагивая от какого-то, должно быть привычного ему, внутреннего беспокойства, он крепко стоял на земле в своих грубых шнурованных ботинках; из-под слишком коротких брюк виднелись синие носки.

– Здравствуйте, господин Клод, – весело ответила огородница. – Знаете, ведь я ждала вас в понедельник; а когда вы не приехали, я убрала ваш холст, повесила у себя в комнате.

– Вы бесконечно добры, госпожа Франсуа, я на днях приеду заканчивать мой этюд… В понедельник я не мог… А что, на большой сливе листья еще не опали?

– Нет, конечно.

– Дело в том, видите ли, что я хочу поместить ее в углу картины. Она будет там неплохо выглядеть, слева от курятника. Я всю неделю над этим думал… Ого! И хороши же овощи нынче утром! Я вышел из дому спозаранку: так и знал, что на восходе солнца эти канальские овощи будут восхитительны.

И он широким жестом указал на плиты тротуара. Огородница снова сказала:

– Ну что ж, я пойду. Прощайте… До скорого свиданья, господин Клод!

И, уходя, представила Флорана молодому художнику:

– Да, кстати, господин этот, кажется, вернулся из далеких краев. Он еще не освоился в вашем окаянном Париже. Вы, может, дадите ему кое-какие полезные сведения.

И она наконец ушла, обрадованная, что оставляет Флорана не одного. Клод с интересом поглядывал на него; это удлиненное лицо, тонкое и подвижное, показалось ему оригинальным. Рекомендации г-жи Франсуа было для него достаточно; и с непринужденностью фланера, привыкшего к случайным встречам, он спокойно сказал Флорану:

– Я вас провожу. Вы куда направляетесь?

Флоран смутился. Он сближался с людьми не столь быстро; однако с первой минуты его приезда у него готов был сорваться вопрос. Теперь он отважился и спросил, боясь услышать неблагоприятный ответ:

– А улица Пируэт еще существует?

– Ну как же! – воскликнул художник. – Весьма занятный уголок старого Парижа, эта самая улица! Она кружит, словно балерина, а дома там пузатые, как беременная женщина… Я сделал с нее неплохой офорт. Когда будете у меня, покажу… Туда вы и направляетесь?

Флоран, утешенный и ободренный сообщением, что улица Пируэт еще существует, заверил его, будто и не думал идти туда, будто ему не нужно никуда идти. Настойчивость Клода вновь пробудила его недоверие.

– Ничего, – сказал тот, – пойдемте все-таки на улицу Пируэт. До чего ж она колоритна ночью! Идемте, это в двух шагах отсюда.

Флорану пришлось подчиниться. Они шли бок о бок, словно два товарища, шагая через корзины и овощи. На тротуарах улицы Рамбюто высились огромные кучи цветной капусты, сложенные с поразительной аккуратностью наподобие пирамид из пушечных ядер. Белая, нежная плоть кочанов, окруженная толстыми зелеными листьями, напоминала распустившуюся огромную розу, а груды их – букеты новобрачной, которыми уставили колоссальные жардиньерки. Клод остановился, ахнув от восхищения.

Потом, когда они подошли к улице Пируэт, он стал ему показывать и описывать каждый дом. На углу горел лишь один газовый фонарь. Осевшие и разбухшие дома выпятили свои навесы и были «пузатыми, как беременная женщина», по выражению художника; коньки их крыш завалились назад, и домишки словно поддерживали друг дружку плечом. Зато три-четыре других дома, тонувшие в ямах мрака, казалось, вот-вот уткнутся носом в землю. Газовый фонарь выхватил один из них, ослепительно-белый, заново оштукатуренный, похожий на старуху с немощным и дряблым телом, набеленную и накрашенную, как молодая красотка. Дальше неровная вереница домов постепенно уходила в глубокую тьму, изборожденная трещинами, вся в зеленых потеках от дождя, являя собой такую беспорядочную смесь красок и поз, что Клод хохотал от всей души. Флоран остановился на углу улицы Мондетур против предпоследнего дома слева. Еще спали три его этажа с окнами без ставен, с маленькими белыми шторками, плотно задернутыми изнутри; наверху, за занавесками узкого оконца под самым коньком крыши, мелькал свет. Но особенное волнение Флорана явно вызвала лавка под навесом. Ее как раз открывали. Она принадлежала торговцу вареными овощами; внутри блестели котлы, на прилавке в глиняных мисочках красовались выложенные горками тертый шпинат и цикорий с воткнутыми маленькими совками, от которых виднелись лишь белые металлические ручки. Изумленный этим зрелищем, Флоран замер как пригвожденный; должно быть, он не узнавал лавку; он был подавлен, прочитав на красной вывеске фамилию владельца: Годбеф. Опустив руки, Флоран уставился на пюре из шпината с таким видом, словно произошло величайшее несчастье.

Оконце под крышей распахнулось, и оттуда высунулась головка маленькой старушки; она поглядела на небо, на рынок, вдаль.

– Смотрите-ка, мадемуазель Саже, ранняя пташка, – заметил Клод, вскинув на нее глаза.

И, повернувшись к своему спутнику, он добавил:

– Здесь жила моя тетка… Дом этот – гнездо сплетен… Ага! Вот и Меюдены зашевелились: на третьем этаже свет.

Флоран собрался уже расспросить его, но этот человек в широком полинялом пальто внушал какое-то беспокойство; так и не промолвив ни слова, он пошел вслед за Клодом, который стал рассказывать ему о сестрах Меюден. Они рыбницы; старшая – роскошная женщина; младшая торгует пресноводной рыбой

и, когда стоит, такая золотоволосая, среди своих карпов и угрей, смахивает на одну из мадонн Мурильо. Мало-помалу он в сердцах договорился до того, что Мурильо не писал, а «валял дурака». Потом вдруг, остановившись посреди улицы, воскликнул:

– Да куда же вы, собственно, направляетесь?

– Теперь уже никуда, – уныло ответил Флоран. – Идемте, куда хотите.

Когда они собирались повернуть с улицы Пируэт, чей-то голос из винного погребка, стоявшего на углу, окликнул Клода. Клод зашел внутрь, потащив за собой и Флорана. Ставни там были открыты только с одной стороны. В еще сонном ночном воздухе зала горела газовая лампа; на столах валялись карточки вчерашнего меню, какая-то тряпка, и к теплому, затхлому запаху вина примешивалось свежее дуновение ветерка из распахнутой настежь двери. Хозяин заведения, Лебигр, в одном жилете, со спутанной круглой бородкой, обслуживал посетителей; его полное, с правильными чертами лицо было бледным и заспанным. Мужчины, собравшись по двое, по трое, выпивали у стойки; они кашляли, отплевывались, глаза у них еще слипались, и они разгоняли сон белым вином и водкой. Флоран узнал среди них Лакайля; уже сейчас, в эту рань, его мешок был набит овощами. Он выпивал по третьей со своим товарищем, обстоятельно рассказывавшим, как он покупал корзину с картофелем. Осушив свою рюмку, Лакайль пошел потолковать с Лебигром в маленькую застекленную комнатку в глубине погребка, где свет не горел.

– Что будете пить? – спросил Клод у Флорана.

Войдя в погребок, он пожал руку пригласившему его знакомцу. Это был грузчик – красивый юноша лет двадцати двух, самое большее, без бороды, но с маленькими усиками, молодцевато носивший свою запачканную мелом широкополую шляпу и наспинник из грубой ковровой ткани, лямки которого перекрещивались на его синей блузе. Клод называл его по имени – Александром, хлопал по плечу, спрашивал, когда они с ним съездят в Шарантонно. И оба стали вспоминать о совместной большой прогулке в лодке по Марне, о том, как они вечером поужинали кроликом.

– Ну-с, что же вы будете пить? – повторил Клод.

Флоран в большом смятении смотрел на стойку. В конце ее помещался газовый прибор, пылавший розовыми и голубыми язычками пламени, где подогревались чайники в медных обручиках, с пуншем и горячим вином. Наконец Флоран признался, что с удовольствием выпил бы чего-нибудь горячего. Лебигр подал три стакана пунша. Подле чайников стояла корзина с только что принесенными сдобными булочками, – от них еще шел пар. Но спутники Флорана до них не дотрагивались, и Флоран выпил свой стакан пунша, не закусывая; ему показалось, что в его пустой желудок струйкой льется расплавленный свинец. За пунш заплатил Александр.

– Славный он малый, – сказал Клод, когда они с Флораном снова оказались вдвоем на улице Рамбюто. – Он становится таким потешным, когда попадает за город: показывает всякие акробатические номера; да и тело у него, у канальи, великолепное, – я видел его нагишом; вот если бы он согласился позировать мне обнаженным, на природе… А теперь, если угодно, пройдемся по Центральному рынку.

Флоран следовал за ним, подчиняясь его воле. Светлый луч, сверкнувший в глубине улицы Рамбюто, возвестил приход дня. Еще громче гудел мощный голос рынка; по временам звон колокола в отдаленном павильоне заглушал раскаты этого растущего гула. Они вошли в одну из крытых галерей между павильонами морской рыбы и живности. Флоран поднял глаза, рассматривая высокий свод, где между черными кружевами чугунных конструкций поблескивала деревянная обшивка. Когда же они вышли оттуда в большую центральную галерею, Флорану почудилось, что перед ним раскинулся какой-то странный город, четко разделенный на кварталы, с предместьями, деревушками, с местами для гулянья и дорогами, с площадями и перекрестками, который однажды в дождливый день по прихоти неведомого гиганта был целиком перенесен под огромный навес. Сумрак, притаившийся в углублениях перекрытий, умножал леса столбов, беспредельно увеличивая тонкие стрелки свода, точеные галереи, резные ставни; над всем этим городом, уходя в глубь мрака, раскинулись настоящие заросли цветов и листьев, чудовищное цветение металла, где поднимающиеся конусами стволы и вязь переплетающихся ветвей скрывали, подобно вековому лесу, под своей воздушной сенью какой-то особенный мир. Многие кварталы спали еще за решетчатыми воротами. Павильоны с маслом и живностью выстроили в ряд свои ларьки, протянули свои безлюдные улочки под вереницами газовых фонарей. Только что открылся павильон морской рыбы; женщины проходили между рядами белых каменных прилавков, пятнистых от теней корзин и забытых тряпок. Все громче становился гомон подле овощей, цветов и фруктов. Город мало-помалу пробуждался – от многолюдных кварталов,

где уже с четырех часов утра громоздятся горы капусты, до ленивых и богатых кварталов, где только к восьми выставляются в лавках пулярки и фазаны.

Но в больших крытых галереях рынка жизнь била ключом. Вдоль тротуаров по обеим сторонам еще стояли огородники, мелкие земледельцы, которые, приехав из окрестностей Парижа, выставили в корзинах снятый накануне урожай: пучки овощей, горстки фруктов. Среди непрерывного движения толпы под своды рынка въезжали повозки, замедляя ход звенящих подковами лошадей. Две из этих повозок, поставленные поперек, загораживали улицу. Флоран вынужден был, чтобы пройти, опереться на сероватый мешок, похожий на мешок с углем, под огромной тяжестью которого гнулись тележные оси; от мокрых мешков шел свежий запах морских водорослей; из одного, лопнувшего по шву, сыпались черной массой крупные мидии. Теперь Флоран и Клод поневоле останавливались на каждом шагу. Морская рыба все прибывала; подводы следовали одна за другой, везя высокие ящики с крытыми плетенками, которые доставляются по железной дороге, битком набитые океанским уловом. И, шарахаясь от подвод с рыбой, которые катили вперед все быстрей и настойчивей, Флоран и Клод с трудом спасались от подвод с маслом, яйцами и сыром – больших желтых фур, запряженных четверкой, с цветными фонарями; грузчики снимали ящики с яйцами, корзины с творогом и маслом и несли их в павильон продажи с аукциона, где чиновники в каскетках помечали при свете газа в своих записных книжках количество товара. Клод был очарован всей этой сутолокой. Он забывал обо всем на свете, то любуясь каким-нибудь неожиданным освещением, то синим пятном рабочих блуз, то картиной разгрузки подвод. Наконец они выбрались из сутолоки. Они продолжали путь по главной галерее рынка, и на них повеяло вдруг упоительным ароматом, который разливался вокруг и точно следовал за ними по пятам. Они оказались в самом центре торговли срезанными цветами. На тротуарах, перед сидевшими слева и справа женщинами, стояли квадратные корзины, полные пучков роз, фиалок, георгин, маргариток. Одни цветы багрянели, как пятна крови, другие томно бледнели, отливая необычайно нежными серебристо-серыми тонами. Свеча, горевшая подле одной из корзин, пронизывала окружающую ее черноту звенящей музыкой красок, озаряя яркие лепестки маргариток, кроваво-красные головки георгин, лиловатую синь фиалок, румяную плоть роз. И ничто не могло дать большей услады, ничто так не напоминало о весне, как это нежное благоухание, настигшее их здесь, на тротуаре, после терпкого дыхания морского улова, после гнилостного запаха сыра и масла.

Клод и Флоран вернулись обратно; они бродили, медля уйти, среди цветов, с любопытством останавливались перед цветочницами, продававшими

папоротники и виноградные листья, аккуратно перевязанные пучками по двадцать пять штук. Затем Флоран и Клод свернули в небольшую, почти пустынную галерею, где их шаги гулко отдавались, как под сводами церкви. Тут они обнаружили крохотного ослика, запряженного в повозку чуть побольше тачки; ослик, должно быть, соскучился в одиночестве и, завидев их, так громко и протяжно заревел, что задрожали огромные крыши рынка. В ответ раздалось ржание лошадей; вдалеке зацокали копыта, поднялся гам, который усиливался, гремел раскатами и наконец замер. Между тем открытые настежь пустые лавки комиссионеров на улице Берже являли взору ярко освещенные светом газа груды корзин и фруктов среди трех грязных стен, исписанных арифметическими подсчетами, сделанными карандашом. И когда они вышли на эту улицу, они заметили хорошо одетую даму, свернувшуюся клубочком в уголке фиакра, который затерялся в гуще движения на шоссе и старался проскользнуть между повозками; лицо дамы выражало блаженную усталость.

– А вон и Сандрильона возвращается домой без башмачков, – улыбаясь, сказал Клод.

Теперь, вернувшись снова на рынок, они непринужденно беседовали. Заложив руки в карманы и посвистывая, Клод рассказывал о своей великой страсти к этому половодью съестного, что каждое утро наводняет самый центр Парижа. Ночи напролет бродил Клод по плитам этих тротуаров, мечтая о колоссальных натюрмортах, о необычайных полотнах. Клод даже начал писать такую картину, для чего заставил позировать своего приятеля Майорана и дрянчужку Кадину; но дается это нелегко, потому что все это слишком прекрасно: и треклятые овощи, и фрукты, и рыба, и мясо! Флоран слушал восторженные излияния художника, хотя у него подводило живот от голода. Очевидно, Клод не додумался, что красота эта съедобна. Он любил ее только за краски. Вдруг он замолк, привычным движением затянул потуже длинный красный кушак, который носил под своим зеленоватым пальто, и лукаво добавил:

– Ну, а затем я здесь завтракаю, правда, вприглядку, но это все-таки лучше, чем ничего. Зато, ежели я вчера забыл пообедать, я иной раз назавтра объедаюсь до несваренья желудка, глядя, как сюда доставляются всякие вкусные вещи. И в такое утро я с еще большей нежностью отношусь к моим овощам… Нет, послушайте, до чего же гнусно, до чего же несправедливо, что все это жрут прохвосты буржуа!

Он рассказал, каким роскошным ужином однажды его угостил у Барата приятель, которому повезло; они ели устрицы, рыбу, дичь. Но Барат был хорош в свое время; теперь весь карнавальный блеск прежнего рынка Дез-Инносан давно обратился в прах; на смену ему пришел Центральный рынок, чугунный колосс, – новый, такой своеобразный город. Что бы ни говорили дураки – здесь целиком выражена наша эпоха. Флоран уже перестал понимать, что именно осуждает Клод: живописность ли старого рынка или хороший стол в ресторане Барата. Затем Клод начал поносить романтизм: эти груды капусты он предпочитает ветоши средневековья. В заключение он признал свой офорт улицы Пируэт актом малодушия; надо сровнять с землей старые харчевни и выстроить новые, современные дома.

– Ну вот, – сказал он, остановившись, – взгляните-ка туда, на тот уголок тротуара. Разве это не готовая картина, куда более человечная, чем все их треклятые, худосочные полотна?

Сейчас вдоль всей галереи стояли женщины, продававшие кофе и суп. В уголке тротуара, вокруг торговки капустным супом, собралась толпа покупателей. Из жестяного луженого ведра с кипящей похлебкой валил пар; оно стояло на низенькой печурке, сквозь отверстия которой тускло светились тлеющие угли. Женщина, вооруженная уполовником, разливала суп в желтые чашки, добавляя к ним тонкие ломтики хлеба из корзинки, выстланной полотенцем. Здесь можно было увидеть и очень опрятных торговок, и огородников в блузах, и грязного грузчика в пальто, засалившемся от снеди, которую он таскал на своих плечах, и оборванных бедняков; их пригнал сюда утренний голод со всего рынка, и они ели, обжигаясь, вытягивая губы в трубочку, чтобы не капнуло на подбородок. Восхищенный художник щурил глаза, ища тот угол зрения, под которым он мог бы хорошо скомпоновать всю картину целиком. Однако чертов суп благоухал умопомрачительно. Флоран отворачивал голову, смущенный видом полных до краев чашек; едоки хлебали из них безмолвно, озираясь по сторонам, как пугливые животные. Когда же торговка налила супу новому покупателю и пар, вырвавшись из миски, ударил Клоду прямо в лицо, Клод и сам заколебался.

Он затянул кушак, улыбаясь и досадуя на себя; затем зашагал снова и вполголоса сказал Флорану, намекая на пунш, которым угостил их Александр:

– Забавно! Вы, должно быть, и сами замечали, что всегда найдется охотник угостить вас вином, а вот охотника угостить обедом нигде не сыщешь.

Светало. Видневшиеся за улицей Коссонри дома Севастопольского бульвара были совсем черными; а над четкой линией шиферных крыш высокий купол главной галереи врезался в бледную голубизну неба, как сияющий полумесяц. Клод, нагнувшись, заглядывал в забранные решеткой люки у края тротуара; они открывались в глубокие подвалы, где мерцали огоньки газа; сейчас Клод выпрямился и стал смотреть вверх, словно искал кого-то там, между высокими столбами, на синеющих у кромки светлого неба крышах. Наконец он как будто нашел что-то, остановив взгляд на одной из узких железных лестниц, которые соединяют кровли двух этажей, давая возможность ходить по крыше. Флоран спросил Клода, что он там видит.

– Ну и бес же этот Майоран, – пробормотал Клод, не отвечая на вопрос. – Забрался, наверное, в сточный желоб на крыше, если только не ночевал в подвале, в птичнике… Он мне нужен для этюда.

И он рассказал, что его приятель Майоран – найденыш, его обнаружила однажды утром какая-то торговка в груде капусты, и рос он на улице без призору. Когда же его попробовали отдать в школу, он заболел; пришлось вернуть мальчика домой, на рынок. Майоран знал самые глухие его закоулки, любил их преданной сыновней любовью, жил в этой чугунной чаще жизнью проворной белки. Он да эта дрянчужка Кадина – парочка хоть куда; Кадину как-то вечером подобрала матушка Шантмес на углу старого рынка Дез-Инносан. Внешность у этого дуралея – у Майорана – великолепная: он весь золотисто-розовый – точь-в-точь рубенсовская модель, с рыжеватым пушком, сквозь который сквозит свет; а девчонка – маленькая, лукавая, тоненькая, с презабавной мордочкой, выглядывающей из-под спутанных черных кудряшек.

Продолжая разговаривать, Клод ускорил шаг. Он привел своего спутника снова к перекрестку Св. Евстафия. Флоран повалился на скамью возле омнибусной станции – ноги у него опять подкашивались. Свежело. Вдали, над улицей Рамбюто, розовые отблески зари расписывали под мрамор молочно-белесое небо, рассеченное в вышине огромными серыми трещинами. Заря была напоена такими душистыми запахами, что Флорану на миг почудилось, будто он в настоящей деревне, на каком-то пригорке. Но тут Клод указал ему на расположившихся за его скамьей торговцев пряностями. Вдоль требушинных рядов раскинулись целые поля тмина, лаванды, чеснока, лука-шалота; торговки обвили молодые платаны на тротуарах высокими ветвями лавра, которые были гордостью этого царства зелени. И все запахи заглушало благоухание лавра.

Светящийся циферблат на церкви Св. Евстафия бледнел и мерк, словно лампада, застигнутая лучами зари. Один за другим гасли, подобно звездам при свете дня, газовые рожки в винных погребках на соседних улицах. И Флоран следил, как огромный рынок высвобождался из мрака, освобождался от дымки мечты, в которой привиделись ему тонувшие в бесконечных далях ажурные чертоги. Они обретали плотность, зеленовато-серую массу, становились еще громадней, оснащенные чудесными мачтами – столбами, несущими необозримые полотнища крыш. Их геометрические тела сливались в одно целое; и когда внутри погасли все огни, они предстали в свете дня, квадратные, одинаковые, словно современная машина, необъятная по своим размерам, – словно паровая машина или паровой котел, служивший пищеварительным аппаратом для целого народа; эта громада походила на гигантское металлическое брюхо; затянутое болтами и заклепанное, созданное из дерева, стекла и чугуна, оно отличалось изяществом и мощью механического двигателя, работающего с помощью тепла под оглушительный стук колес.

Но тут Клод в восторге вскочил на скамью. Он требовал, чтобы его спутник полюбовался восходом солнца над овощами. То было поистине море. Оно простиралось от перекрестка Св. Евстафия до улицы Центрального рынка между обеими группами павильонов. И по краям его, на двух перекрестках, прилив все нарастал, овощи наводняли мостовые. Медленно занимался рассвет, подернутый мягкой сероватой дымкой, окрашивая все кругом в светлые акварельные тона. Эти валы в гребешках, подобные стремительным волнам, эта река зелени, которая, казалось, текла в ложбине шоссе, напоминая разлив после осенних дождей, принимала нежные, жемчужные оттенки, то тающие лиловые, то розовые с молочно-белыми отливами, то зеленые, переходящие в желтые, – здесь была вся та бледная гамма красок, которая при восходе солнца превращает небо в переливчатый шелк; и по мере того как утреннее зарево вставало языками пламени в глубине улицы Рамбюто, овощи все больше пробуждались, высвобождаясь из стлавшейся по земле до самого горизонта синевы. Салат-латук, белый и голубой цикорий, распустившиеся, жирные еще от перегноя, обнажили свою яркую сердцевину; связки шпината, щавеля, пучки артишоков, груды бобов и гороха, пучки салата-эндивия, перевязанного соломинками, – все это звенело гаммой зеленых красок, от ярко-зеленого лака стручков до темной зелени листьев; строго выдержанная гамма кончалась, замирая, на пестрых стебельках сельдерея и пучках лука-порея. Но самыми пронзительными ее нотами, звучавшими громче всех, были по-прежнему сочные мазки красной моркови и чистые тона белой репы, щедро рассеянные вдоль рынка, оживлявшие его своей двухцветной яркой каймой. На перекрестке улицы Центрального рынка капуста лежала горами: огромные белые кочаны, плотные и

тяжелые, как бомбы из тусклого металла; кудрявая капуста, широкие листья которой походили на плоские бронзовые чаши; красная капуста – головки ее заря превратила в роскошные цветы, багряные, как забродившее вино, вмятины на ее боках отливали кармином и темным пурпуром. Напротив, на перекрестке Св. Евстафия, проход на улицу Рамбюто забаррикадировали оранжевые тыквы, выстроившись в две шеренги, брюхом вперед. И то тут, то там в корзинке вспыхивали золотисто-коричневые лакированные головки репчатого лука, кроваво-красная куча помидоров, блекло-желтая горка огурцов, темно-фиолетовая связка баклажан; но в этой звенящей радости пробужденья кое-где еще зияли провалы тьмы – ряды редьки, черневшие, как траурные полотнища.

Клод захлопал в ладоши при этом зрелище. Он восклицал, что «канальи овощи» сегодня хороши до нелепости, до безумия, просто бесподобны! Он уверял, что это не мертвые овощи, что, сорванные вчера, они ждали солнца, они хотели сказать ему сегодня «прости» на плитах Центрального рынка. Они были для него живыми, он видел, как они раскрывают листья, словно их корни еще мирно живут в теплой, унавоженной земле. Он утверждал, будто слышит здесь предсмертное хрипенье со всех окрестных огородов. Тем временем женщины в белых чепчиках и черных кофтах, мужчины в синих блузах наводнили узкие дорожки между грудами овощей. Казалось, тут гудит целая деревня. Большие корзины грузчиков медленно плыли над головами. Перекупщицы, уличные торговцы, зеленщики спешили закупить товар. Вокруг капустных гор стояли солдаты, толпились монахини; тут же шныряли повара коллежей, ища, что подешевле. Разгрузка овощей все продолжалась; возы сваливали поклажу на землю, словно камни, добавляя к волнам зелени новые – те, что теперь выплескивались на противоположный тротуар. А из глубины улицы Новый мост непрерывно тянулись вереницы повозок.

– И все-таки это здорово красиво, – в восторге пробормотал Клод.

Флоран мучился. Он готов был поверить, что это какое-то сверхчеловеческое искушение. Он не хотел больше смотреть на овощи, он разглядывал церковь Св. Евстафия, стоявшую наискосок от него и словно выписанную сепией на синеве неба, со всеми своими розетками, большими сводчатыми окнами, колоколенкой и шиферными кровлями. Флоран остановился в темном закоулке улицы Монторгей, откуда виднелся срезанный угол улицы Монмартр со сверкающими на балконах золотыми буквами ярких вывесок. А когда Флоран возвращался к перекрестку, его внимание привлекли другие вывески с крупными черными и красными литерами на выцветшем фоне: «Москательные и аптекарские товары. Торговля

мукой и сухими овощами». Угловые дома с узкими окошками пробуждались от сна; в просторной новизне улицы Новый мост бросались в глаза желтые и добротные старинные фасады Парижа былых времен. На углу улицы Рамбюто щеголеватые приказчики в жилетках, узких панталонах и широких белоснежных нарукавниках, стоя в пустых витринах большого магазина новинок, выставляли товар. Немного подальше фирма Гийу, мрачная, как казарма, скромно выставила за своими зеркальными стеклами золотистые пачки бисквитного печенья и вазы с пирожными. Открылись все лавки. Рабочие в белых блузах, с инструментом под мышкой, ускоряя шаг, переходили шоссе.

Клод по-прежнему стоял на скамье. Он вытягивал шею, стараясь увидеть все, что делается в глубине улиц. Вдруг он заметил в толпе, над которой он возвышался, белокурую лохматую голову и рядом с ней – черную, кудрявую и растрепанную головку.

– Эй, Майоран! Эй, Кадина! – закричал он.

Голос его заглушала шумная толпа, он спрыгнул на землю и бросился за ними. Тут он сообразил, что забыл о Флоране, и, стремглав кинувшись обратно, торопливо сказал:

– Живу я в конце тупика Бурдоне, запомните… Моя фамилия написана мелом на двери: Клод Лантье… Заходите посмотреть офорт улицы Пируэт.

Он исчез. Имя Флорана было ему неизвестно, он покинул нового знакомца на тротуаре так же, как и встретил, успев лишь изложить ему свои взгляды на искусство.

Флоран остался один. Сначала он обрадовался одиночеству. После того как г-жа Франсуа подобрала его на улице Нейи, он был словно в забытьи, которое перемежалось такими муками, что Флоран утратил ясное представление о действительности. Но вот наконец он свободен; ему захотелось встряхнуться, сбросить с себя нестерпимый морок гигантской жратвы, который преследует его по пятам. А голова была по-прежнему пуста, и он сознавал только, что опять чувствует смутный страх. Светало, теперь его могли заметить; Флоран оглядел свои жалкие брюки и сюртук. Он застегнулся на все пуговицы, очистил от пыли брюки, попробовал кое-как придать себе приличный вид – ему казалось, что черные лохмотья кричат о том, откуда он явился. Он сидел на середине скамьи,

рядом с бедняками, бродягами, приютившимися здесь в ожидании солнца. Ночи на рынке – отрада для бездомных. Двое полицейских, еще в ночной форме, в накидках с капюшонами и в кепи, прогуливались бок о бок вдоль тротуара, заложив руки за спину; всякий раз, проходя мимо скамейки, они косились на учуянную ими дичь. Флоран вообразил, что его опознали, что полицейские совещаются, не арестовать ли его. Его обуял ужас, неистово захотелось встать, бежать. Но он не отважился, не знал, как ему уйти. Это была пытка – сидеть под ежеминутными взглядами полицейских, терпеть этот неторопливый и холодный осмотр! Наконец Флоран встал; еле сдерживаясь, чтобы не пуститься наутек так быстро, как только позволяют его длинные ноги, он медленно ретировался, втянув голову в плечи, со страхом ожидая, что грубые руки полицейских вот-вот схватят его за шиворот.

Им владела только одна мысль, лишь одно стремление – убраться подальше от рынка. Он выждет, продолжит свои поиски позднее, когда будет не так людно. Три улицы, сходившиеся на перекрестке, – Монмартр, Монторгей и Тюрбиго, – вызывали в нем тревогу: они были забиты экипажами всех видов; тротуар кругом покрывали овощи. Тогда Флоран пошел прямо вперед, до улицы Пьер-Леско; но рынок, где торговали кресс-салатом и картофелем, показался ему и вовсе непроходимым. Он предпочел пойти по улице Рамбюто. Однако на Севастопольском бульваре образовался такой затор из фургонов, тележек и шарабанов, что Флоран решил свернуть на улицу Сен-Дени. Здесь он снова попал в гущу овощей. По обоим тротуарам только что выставили свой товар уличные торговцы, положив доски на высокие корзины; наводнение капусты, моркови, репы возобновилось. Рынок выступил из берегов. Флоран попробовал выбраться из потока, который преследовал его всюду, куда бы он ни бежал, он попытался было пройти на улицу Коссонри, потом на улицу Берже, на сквер Дез-Инносан, на улицу Ферронри, на улицу Центрального рынка, но тщетно. И он остановился, обескураженный, ошеломленный, не в состоянии вырваться из бесовского хоровода овощей, которые в конце концов обступили его со всех сторон, спутали ноги стеблями ботвы. Дальше, вплоть до улицы Риволи, вплоть до площади Ратуши, тянулись бесконечные вереницы колес и упряжек, еле видные за беспорядочной массой выгружаемого товара; большие фургоны увозили добычу поставщиков фруктов для целого квартала; до отказа набитые шарабаны направлялись в пригороды. На улице Новый мост Флоран окончательно растерялся; он попал в самый центр становища уличных торговцев, устраивающих свою передвижную выставку на ручных тележках. Тут он узнал Лакайля, который двинулся по улице Сент-Оноре, толкая перед собой тачку с морковью и цветной капустой. Флоран пошел вслед за ним в надежде, что таким образом выберется из толчеи. Идти по мостовой было скользко, хотя

стояла ясная погода: стебли артишоков, листья и ботва толстым слоем устилали шоссе, и пешеходам здесь грозила опасность. Флоран спотыкался на каждом шагу. На улице Вовилье он потерял из виду Лакайля. Конец улицы со стороны Хлебного рынка был забаррикадирован, возникло новое препятствие – тележки и возы. Флоран больше не пробовал бороться: рынок одолел, поток нес его обратно. Он прибрел назад и оказался снова у перекрестка Св. Евстафия.

Теперь Флоран слышал медлительные, рокочущие звуки, доносившиеся с рынка. Париж размалывал пищу для двух миллионов своих жителей. Казалось, это неистово пульсирует огромное сердце, выталкивая из себя животворную кровь в питаемые им сосуды. Лязгали исполинские челюсти, все кругом гудело от грохота ссыпаемой пищи, все слилось в оглушительный шум – от щелканья бичей оптовых перекупщиков, отъезжающих на рынок своего квартала, до шарканья стоптанных башмаков бедных разносчиц, которые ходят с кошелками от подъезда к подъезду, предлагая салат.

Флоран прошел в галерею слева, к группе четырех павильонов, чьи исполинские молчаливые тени он видел ночью. Он надеялся, что скроется там, забьется в какую-нибудь нору. Но сейчас эти павильоны уже бодрствовали, как и все другие. Он дошел до конца галереи. Навстречу рысью въезжали ломовики с подводами, загромоздив птичий ряд ивовыми клетками с живой птицей и квадратными плетенками, где плотными рядами была уложена битая птица. Другие подводы выгружали на противоположном тротуаре целые телячьи туши, запеленатые в холстину, словно младенцы в люльках, вытянувшиеся во всю свою длину в корзинах, откуда виднелись лишь четыре растопыренные кровоточащие культяпки. Имелись там и целые бараны, и четверти коровьих туш, и филейные части, и лопатки. Мясники в широких белых передниках ставили клеймо на тушах, отвозили их в павильон, где клали на весы, а затем вешали на крючья в зале аукциона. Флоран, прижавшись лицом к решетке павильона, смотрел на шеренги висящих трупов, на красные коровьи и бараньи, на бледно-розовые телячьи туши в желтых пятнах жира и сухожилий, с рассеченным брюхом. Потом он прошел требушинный ряд, мимо белесовато-сизых телячьих голов и ножек, мимо кишок, аккуратно свернутых узлом в коробках, мимо бережно уложенных в плоские корзины мозгов, мимо сочившихся кровью печенок и лиловатых почек. Он остановился у длинных двухколесных возков с брезентовым круглым верхом, на которых доставляют разрубленные пополам свиные туши, подвязав их к боковым стенкам возка, над соломенной подстилкой; откинутые задки повозок открывали внутренность этих катафалков, глубину этих ковчегов со святыми дарами, – всю в кровавых отсветах от ободранных, висящих рядами туш; ниже на соломенной подстилке стояли жестянки, полные свиной крови. Тогда

Флорана охватил приступ глухого бешенства; его нестерпимо раздражал тошнотворный запах бойни, едкая вонь требушины. Он вышел из галереи, решив, что лучше уж опять посидеть на тротуаре улицы Новый мост.

Больше было невмоготу. От утреннего холодка пробирал озноб, зуб на зуб не попадал; Флоран испугался, что тут и свалится, что больше не встанет. Он поискал было, но не нашел свободного места на скамье: соснуть бы, пусть даже потом растолкают полицейские. Обмирая от дурноты, точно ослепший, со звоном в ушах, он прислонился к дереву и закрыл глаза. Сырая морковь, которую он проглотил, почти не разжевав, раздирала внутренности, а от выпитого стакана пунша он охмелел. Он был пьян от горя, усталости, голода. И опять под ложечкой жгло как огнем; время от времени он прикладывал к груди обе руки, словно хотел заткнуть дыру, сквозь которую уходят последние силы. Тротуар то взмывал вверх, то падал; Флоран снова зашагал, стараясь заглушить свою нестерпимую муку. Он пошел прямо вперед, оказался среди овощей. Тут он заблудился. Он побрел по какой-то узкой дорожке, потом свернул на другую, вынужден был возвратиться и оказался в гуще зелени. Кое-где она поднималась так высоко, что люди ходили как между двумя стенами, сложенными из связок и пучков овощей. Головы людей еле виднелись, мелькали только черные пятна головных уборов; а большие корзины, проплывавшие над кромкой листьев, напоминали ивовые лодки, качающиеся над гладью затянутого ряской озера. Флоран натыкался на несчетное множество препятствий: на грузчиков, поднимавших поклажу, на горластых торговок, вступивших в перебранку; ноги его скользили по очисткам и ботве, которые плотным слоем устилали мостовую, он задыхался от крепкого запаха раздавленных листьев. Совершенно ошалев, он остановился, не сопротивляясь больше ни толчкам, ни ругани; он превратился в бесчувственную вещь, которую швыряли и катили куда-то в глубь моря, вздыбленного прибоем.

Им овладело постыдное малодушие. Он готов был просить милостыню. Он злился, что проявил тогда ночью глупую гордость. Если бы он принял подачку г-жи Франсуа, если бы не испугался, как последний дурак, Клода, то не очутился бы здесь, не изнывал бы среди этой капусты. Особенно бесился он на себя за то, что тогда, на улице Пируэт, не расспросил обо всем художника; а теперь оставайся здесь один, подыхай на мостовой, как заблудший пес.

Он окинул прощальным взглядом рынок. Рынок сверкал на солнце. Длинный луч лился внутрь из дальнего угла галереи, прокладывая в толще павильонов пламенеющий светом портик; солнечный дождь барабанил по поверхности

крыш. Исполинская чугунная конструкция таяла, синела, сливаясь в единый темный профиль на полыхающем заревом востоке. Наверху горело цветное стекло, градина света катилась к сточным желобам по широкому скату цинковой кровли. И вот рынок обернулся шумным городом в облаке золотистой летучей пыли. Ширился гул пробужденья; грохот новых, все еще прибывающих возов вторгался в храп огородников, спящих под своими толстыми плащами. Уже во всем этом городе настежь распахнулись ворота; тротуары гудели, павильоны галдели; звучали все голоса, и казалось, это звучит сейчас, получив свое полное выражение, та музыкальная фраза, медленный зачин которой и нарастание Флоран слышал с четырех часов утра. Справа, слева, со всех сторон визгливые выкрики аукционистов врезались пронзительными нотами флажолета в глухие басы толпы. То была морская рыба, то было масло, то была домашняя птица, то было мясо. За каждым ударом колокола поднимался гомон открывающегося рынка. Солнце вокруг Флорана заливало лучами овощи. Он больше не узнавал нежную акварель бледных красок зари. Разбухшая сердцевина салата горела, гамма зеленых цветов сверкала мощными, великолепными оттенками, морковь рдела сгустками крови, репа накалилась добела в этом ликующем пожаре красок. Слева от Флорана все еще катилась с возов лавина капусты. Он отвел глаза и увидел вдали ломовые подводы, которые по-прежнему шли с улицы Тюрбиго. Море продолжало прибывать. Флоран чувствовал, как прилив мало-помалу доходит ему до щиколоток, потом до пояса, а теперь вот-вот перехлестнет через голову. Ослепленный, утопающий, со звоном в ушах, подавленный всем этим зрелищем, предвидя еще новые и нескончаемые бездны наступающей на него пищи, он взмолился о пощаде; его охватила безмерная тоска при мысли, что он обречен на голодную смерть здесь, в сытом по горло Париже, в этом искрометном пробуждении рынка. И горячие крупные слезы брызнули из глаз Флорана.

Он выбрался в проход пошире. Две женщины – маленькая старушка и высокая сухопарая – прошли мимо него, разговаривая, по дороге к павильонам.

– И вы пришли сюда за покупками, мадемуазель Саже? – спросила сухопарая.

– Да, госпожа Лекер, если можно так выразиться… Вы ведь знаете, я женщина одинокая. Много ли мне нужно… Хочется купить кочанчик цветной капусты, да все так дорого… А масло почем сегодня?

– Тридцать четыре су… У меня масло очень хорошее. Если вы пожелаете заглянуть ко мне…

– Да, да, но не знаю, право, у меня есть еще немножко сала…

Флоран, сделав отчаянное усилие, побрел за этими женщинами. Ему вспомнилось, что на улице Пируэт Клод назвал имя этой старушки; Флоран решил расспросить ее, когда сухопарая уйдет.

– А как ваша племянница? – продолжала мадемуазель Саже.

– Сарьетта живет в свое удовольствие, – кисло ответила г-жа Лекер. – Она захотела устроиться самостоятельно. Теперь уж мне до нее дела нет. Во всяком случае, не я подам ей кусок хлеба, когда мужчины оберут ее до нитки.

– Вы были так добры к ней… Но она должна неплохо зарабатывать: фрукты в этом году хорошо идут… А как ваш зять?

– Ну, он-то…

Госпожа Лекер поджала губы и, по-видимому, не собиралась продолжать.

– Такой же, как всегда, верно? – настаивала мадемуазель Саже. – Очень почтенный человек… Правда, до меня дошло, что он легко тратит деньги…

– Кто его знает, на что он тратит деньги, – грубо ответила г-жа Лекер. – Ведь он такой скрытный, такой скупердяй, он, видите ли, мадемуазель Саже, такой человек, что скорей даст мне с голоду подохнуть, чем одолжит пять франков… Он отлично знает, что на масло в этом сезоне, как на сыр и на яйца, спроса нет. А сам продает птицу, сколько ему угодно… Так вот, ни разу, да, да, ни разочка даже, он не предложил мне свою помощь. Понимаете, я слишком горда, чтобы ее принять, но просто мне было бы приятно.

– Эге, да вот он идет, ваш зять! – понизив голос, заметила мадемуазель Саже.

Обе женщины обернулись и посмотрели на человека, который переходил шоссе, направляясь в главную галерею рынка.

– Некогда мне, – прошептала г-жа Лекер, – я оставила лавку без присмотра. Да и к тому же нет у меня охоты говорить с ним.

Флоран тоже невольно оглянулся. Он увидел маленького квадратного человека, жизнерадостного на вид, с седыми волосами, стриженными ежиком; под мышками он нес двух жирных гусей; головы гусей болтались и били его по ляжкам при каждом движении. Флоран радостно всплеснул руками; забыв усталость, он бросился за прохожим. Поравнявшись с ним, он хлопнул его по плечу.

– Гавар!

Тот поднял голову, с недоумением разглядывая и не узнавая представшую перед ним долговязую черную фигуру. Затем в крайнем изумлении воскликнул:

– Вы! вы! Как, неужели это вы?

Гавар чуть не выронил своих жирных гусей. Он никак не мог успокоиться. Однако, заметив свояченицу и мадемуазель Саже, которые издали с любопытством наблюдали эту встречу, Гавар пошел вперед, говоря:

– Идемте, не нужно останавливаться… Здесь слишком много глаз и длинных языков.

Они зашли в галерею, чтобы поговорить. Флоран рассказал, что ходил на улицу Пируэт. Гавара это очень рассмешило; он от души хохотал и сообщил Флорану, что его брат Кеню переехал и открыл новую колбасную в двух шагах отсюда, на улице Рамбюто, против Центрального рынка. Но особенно потешался он над тем, что Флоран все утро провел с этим шутником Клодом Лантье: ведь Клод племянник г-жи Кеню! Гавар хотел было повести Флорана в колбасную. Затем, узнав, что Флоран вернулся во Францию с подложными документами, Гавар принял все меры, дабы соблюсти секретность. Он решил идти впереди Флорана, на расстоянии пяти шагов, чтобы не привлекать ничьего внимания. Проходя через павильон живности, Гавар повесил на своей витрине обоих гусей, затем пересек улицу Рамбюто; Флоран следовал за ним по пятам. Там, остановившись посреди мостовой, Гавар глазами указал ему на большую красивую колбасную.

Косые лучи солнца падали на улицу Рамбюто, заливая светом фасады домов, среди которых начало улицы Пируэт казалось черной дырой. На другом конце огромный корабль церкви Св. Евстафия стоял, весь позолоченный солнечной пылью, как огромная рака с мощами. А в самой гуще толпы, в глубине перекрестка, двигалась в ряд армия метельщиков, равномерно взмахивая метлами; тем временем мусорщики вилами кидали мусор в повозки, которые останавливались через каждые двадцать шагов, звеня битыми черепками. Но Флоран видел только большую колбасную, открытую и сияющую в свете восходящего солнца.

Колбасная эта стояла почти на самом углу улицы Пируэт. Все в ней тешило взор. Светлая, переливающаяся яркими красками, которые так и играли на белизне ее мраморной облицовки, она дышала безмятежностью. Вывеска являла собой нечто вроде масляной картины под стеклом, где фамилия Кеню-Градель сверкала крупными золотыми буквами в рамочке из ветвей и листьев, выписанных на нежном фоне. На щитах по бокам витрины, тоже написанных масляными красками и застекленных, были изображены толстощекие амурчики, порхающие среди кабаньих голов, свиных отбивных, гирлянд сосисок; и эти натюрморты, украшенные всевозможными завитушками и розетками, отличались такой сладостной, акварельной мягкостью, что даже сырое мясо на них отливало розовыми тонами, как фруктовое желе. В этом ласкающем глаз обрамлении открывалась выставка товаров. Они были разложены на подстилке из голубых бумажных стружек; кое-где тарелки с яствами были изящно убраны листьями папоротника, отчего казались букетами, окруженными зеленью. То был мир лакомых кусков, мир сочных, жирных кусочков. На первом плане, у самого стекла витрины, выстроились в ряд горшочки с ломтиками жареной свинины, вперемежку с баночками горчицы. Над ними расположились окорока с вынутой костью, добродушные, круглорожие, желтые от сухарной корочки, с зеленым помпоном на верхушке. Затем следовали изысканные блюда: страсбургские языки, варенные в собственной коже, багровые и лоснящиеся, кроваво-красные, рядом с бледными сосисками и свиными ножками; потом – черные кровяные колбасы, смирнехонько свернувшиеся кольцами, точь-в-точь как ужи; нафаршированные потрохами и сложенные попарно колбасы, так и прыщущие здоровьем; копченые колбасы в фольге, смахивающие на спины певчих в парчовых стихарях; паштеты, еще совсем горячие, с крохотными флажками этикеток; толстые окорока, большие куски телятины и свинины в желе, прозрачном, как растопленный сахар. И еще там стояли широкие глиняные миски, где в озерах застывшего жира покоились куски мяса и фарша. Между тарелками, между блюдами, на подстилке из голубых бумажных стружек, были разбросаны стеклянные банки с острыми соусами, с крепкими

бульонами, с консервированными трюфелями, миски с гусиной печенкой, жестянки с тунцом и сардинами, отливающие муаром. В двух углах витрины стояли небрежно задвинутые туда ящики – один с творогом, а другой битком набитый съедобными улитками, начиненными маслом с протертой петрушкой. Наконец, на самом верху, с усаженной крючьями перекладины свешивались ожерелья сосисок, колбас, сарделек, симметричные, напоминающие шнуры и кисти на роскошных драпировках; а за ними показывали свое кружево лоскутья бараньих сальников, образуя фон из белого мясистого гипюра. И на последней ступеньке этого храма брюха, среди бахромы бараньих сальников, между двумя букетами пурпурных гладиолусов, высился алтарь – квадратный аквариум, украшенный ракушками, в котором плавали взад и вперед две красные рыбки.

Флоран почувствовал легкую дрожь; тут он заметил женщину, стоявшую в лучах солнца на пороге лавки. Она была воплощением благополучия, устойчивого и блаженного изобилия, облик ее как бы дополнял все эти утробные радости. Это была красивая женщина. Она занимала своей особой всю ширину дверного проема, однако была не чрезмерно полной, хотя и полногрудой, в расцвете своих тридцати лет. Она только что встала, но уже гладко причесалась на прямой пробор, и ее напомаженные, словно лакированные волосы лежали двумя плоскими прядками на висках. Это придавало ей особенно опрятный вид. Ее безмятежное тело отличалось прозрачной белизной, а кожа была тонкая и розовая, как у людей, живущих постоянно среди обилия жиров и сырого мяса. Она казалась, пожалуй, серьезной, медлительной и очень спокойной, со строгим очерком губ и чуть-чуть улыбающимися глазами. Накрахмаленный белый воротничок, стягивавший ее шею, белые нарукавники до локтей, белый передник до самых кончиков туфель позволяли видеть лишь край ее черного кашемирового платья, округлые плечи и плотно обтянутую, непомерно пышную грудь, которую подпирал корсет. На всей этой белизне играло яркое солнце. Но залитая светом женщина, синеволосая и розовотелая, в белоснежных нарукавниках и переднике, даже не щурилась и, сохраняя мягкое выражение глаз, с блаженным спокойствием принимала свою утреннюю солнечную ванну, радуясь половодью рынка. Она производила впечатление высокопорядочной женщины.

– Это жена вашего брата, ваша невестка Лиза, – сказал Флорану Гавар.

Он поклонился ей. Затем вошел в переднюю все с теми же педантическими предосторожностями, не желая, чтобы Флоран шел через лавку, хотя она и была сейчас пуста. Гавар явно наслаждался тем, что принимает участие в опасном, на

его взгляд, приключении.

– Погодите, – сказал он, – я сперва посмотрю, нет ли там посторонних… Вы войдете, когда я хлопну в ладоши.

Он отворил дверь в глубине передней. Но едва Флоран услышал за этой дверью голос брата, как одним прыжком оказался за ее порогом. Кеню, который горячо любил его, бросился ему на шею. Они целовали друг друга, как маленькие дети.

– Ах, черт возьми, да неужто это ты, – лепетал Кеню. – Вот уж кого не ждал, так не ждал!.. Я думал, ты умер, только вчера еще я говорил Лизе: «Бедняга наш Флоран…»

Он остановился и, заглянув в лавку, позвал:

– Эй, Лиза! Лиза!

Затем, обернувшись к маленькой девочке, которая забилась в угол, сказал:

– Полина, позови же мать.

Но девчушка не двигалась с места. Это было чудесное дитя лет пяти, с пухлым круглым личиком, очень похожее на прекрасную колбасницу. Девочка держала в объятьях огромную желтую кошку, которая, свесив лапки, благодушно ей покорялась; а Полина, сгибаясь под ее тяжестью, крепко сжимала кошку ручонками, словно боялась, что этот плохо одетый господин украдет ее любимицу.

В комнату медленно вошла Лиза.

– Это Флоран, это мой брат, – твердил Кеню.

Обратившись к Флорану, Лиза назвала его «сударь» и была очень приветлива. Она спокойно оглядела его с головы до ног, не выказав ни малейшего неучтивого удивления. Только чуть поджала губы. И продолжала стоять, с невольной улыбкой наблюдая эти пылкие братские объятия. Однако Кеню, видимо, успокоился. Тогда он заметил, как худ и плохо одет Флоран.

– Ах, дружок мой, здорово же ты сдал, пока был в тех местах… – сказал он. – Ну, а я раздобрел, что поделаешь!

Он и на самом деле был тучен, слишком тучен для своих тридцати лет. Жир выпирал из его рубашки, из передника, из белоснежного белья, – он был похож на огромного запеленатого младенца. С годами бритая физиономия Кеню вытянулась, приобретя отдаленное сходство с поросячьим рылом, – и недаром: он постоянно имел дело со свининой, руки его целый день копошились в этом мясе. Флоран с трудом его узнавал. Он сел и перевел взгляд с брата на красавицу Лизу, потом на малютку Полину. От них так и веяло здоровьем, они были квадратные, лоснящиеся, совершенно бесподобные, и рассматривали они его с удивлением, с тем смутным беспокойством, с каким люди очень тучные смотрят на тощего. Даже кошка, шкурка которой, казалось, вот-вот лопнет от жира, опасливо разглядывала его, тараща круглые желтые глаза.

– Ты подождешь до завтрака, правда? – спросил Кеню. – Мы завтракаем рано, в десять часов.

Из кухни проникал острый запах готовящихся блюд. Флоран мысленно вновь пережил минувшую страшную ночь, свое возвращение домой на овощах, свои муки среди рынка, вспомнил нескончаемый обвал жратвы, от которого он только что спасся. И тихо сказал, кротко улыбнувшись:

– Нет, я, видишь ли ты, проголодался.

II

Мать Флорана умерла вскоре после того, как он начал учиться на юридическом факультете. Жила она в Вигане, в департаменте Гар. Овдовев, она вышла замуж вторично за нормандца, некоего Кеню, родом из Ивето; какой-то супрефект привез его с собой на юг, да так и забыл там. Кеню продолжал служить в супрефектуре, поскольку нашел, что места здесь прелестные, вино доброе и женщины приятные. Через три года после женитьбы он скончался от несварения желудка. И единственным наследством, какое он оставил жене, был толстый мальчик, похожий на отца. Мать уже тогда с великим трудом вносила месячную

плату в коллеж за учение своего старшего сына от первого брака, Флорана. Он доставлял ей много радостей, был очень кроток, усердно учился, получал первые награды в классе. На него она и перенесла всю свою нежность, возлагала все свои надежды. Быть может, предпочитая младшему сыну этого бледного и худенького мальчика, она невольно переносила на него свое чувство к первому мужу, который отличался свойственной провансальцам ласковой мягкостью и любил ее без памяти. А может быть, Кеню, пленив ее сначала своей жизнерадостностью, оказался слишком уж толстым и самодовольным, слишком был уверен в том, что главный источник радостей – его собственная особа. Г-жа Кеню решила, что из ее последыша, ее младшего сына, которым по традиции и сейчас еще часто жертвуют в семьях южан, ничего путного никогда не выйдет, и ограничилась тем, что отдала его в науку к соседке, старой деве, где мальчик научился только проказничать. Братья росли вдали друг от друга, как чужие.

Флоран приехал в Виган, когда мать уже похоронили. По настоянию г-жи Кеню, болезнь ее скрывали от Флорана до последней минуты, чтобы не помешать его занятиям. Флоран нашел маленького Кеню – ему тогда было двенадцать лет – плачущим, сидя на столе посреди пустой кухни. Их сосед, владелец мебельного магазина, рассказал Флорану о страданиях несчастной матери. Она выбивалась из сил, изнуряла себя работой ради того, чтобы сын мог учиться на юридическом факультете. Сверх мелкой торговли лентами, дававшей скудный доход, ей приходилось искать дополнительных приработков, трудиться до поздней ночи. Одержимая мечтой увидеть своего Флорана адвокатом с солидным положением в городе, она стала в конце концов черствой, скупой, беспощадной к себе и другим. Маленький Кеню ходил в рваных штанишках, в блузе с обтрепанными рукавами; он никогда сам не брал еду за столом и ждал, пока мать отрежет ему его долю хлеба. Но мать и себе отрезала такие же тонкие ломтики. Этот режим сократил ей жизнь, она умерла, полная безмерного отчаяния, что не успела завершить свою жизненную задачу.

Рассказ произвел ужасающее впечатление на чувствительную натуру Флорана. Его душили слезы. Он обнял брата, прижал к груди и поцеловал, как бы стараясь возместить материнскую любовь, которой его лишил. Флоран смотрел на его жалкие, стоптанные башмаки, продранные локти, грязные руки – все эти приметы нищеты заброшенного ребенка. Он твердил мальчику, что заберет его с собой, что им будет хорошо. На следующий день, когда Флоран ознакомился с положением дел, он испугался, что не соберет даже нужную для проезда в Париж сумму. Он ни за что не хотел жить в Вигане. Ему удалось удачно сбыть лавчонку, где г-жа Кеню торговала лентами, и это дало ему возможность заплатить долги, которые, как ни щепетильна была его мать в денежных

вопросах, у нее все же мало-помалу накопились. И так как в результате он остался без гроша, то сосед-мебельщик предложил ему пятьсот франков за движимое имущество и вещи покойной. Сосед делал выгодное дело. Но юноша благодарил его со слезами на глазах. Флоран одел брата во все новое и увез в тот же вечер.

В Париже уже не пришлось думать о занятиях на юридическом факультете. Свои честолюбивые помыслы Флоран отложил до будущих времен. Он подыскал несколько уроков, снял в доме на углу улиц Руайе-Коллар и Сен-Жак большую комнату, в которой и поселился с Кеню, обставив ее двумя железными кроватями, шкафом, столом и четырьмя стульями. Отныне у него был ребенок. Флоран с радостью взял на себя роль отца. В первые дни, возвращаясь вечером домой, он попробовал заниматься с братом, но тот его почти не слушал; мальчик был тупой, не хотел учиться и горько рыдал, сожалея о тех временах, когда мать не мешала ему бегать по улицам. Флоран приходил в отчаяние, прекращал урок, утешал Кеню, обещал ему, что он будет отдыхать, сколько душе угодно. И пытаясь найти оправдание своей слабохарактерности, говорил себе, что не для того взял на свое попечение малое дитя, чтобы его тиранить. Радостное детство Кеню – вот цель, которой руководствовался Флоран. Он боготворил брата, с восторгом слушал его смех, бесконечно наслаждался тем, что он здесь, рядом, здоров и избавлен от забот. Флоран был все так же худ, носил потрепанное черное пальто, лицо его начинало блекнуть; ему досталась горькая участь учителя, ставшего предметом жестокой потехи учеников. Кеню же превратился в круглого, как мяч, немного дураковатого и полуграмотного, но неизменно жизнерадостного толстячка, наполнявшего весельем большую темную комнату на улице Руайе-Коллар.

Проходили годы. Флоран, который унаследовал самоотверженный характер матери, держал Кеню дома, как великовозрастную балованную девицу. Он избавлял брата даже от самых легких обязанностей по дому: сам ходил за покупками, убирал комнату, стряпал. По его словам, это отвлекает от мрачных мыслей. Обычно он бывал угрюм и считал себя злым. Вечером, когда он возвращался домой, забрызганный грязью, понурый, подавленный ненавистью чужих детей, его до глубины души трогало, что этот толстый, здоровенный мальчишка, только что запускавший волчок на полу, кидается ему на шею. Кеню хохотал, глядя, как неумело жарит брат яичницу, с какой глубокой серьезностью он ставит на огонь суп. Подчас, погасив лампу и улегшись в постель, Флоран снова грустил. Он мечтал возобновить свои занятия юриспруденцией, ломал себе голову, как бы урвать время для юридического факультета. Когда это ему удалось, он был вполне счастлив. Но однажды он простудился и неделю

пролежал в постели; это пробило такую брешь в их бюджете и так его напугало, что он отказался от мысли закончить курс. У него рос сын. Флоран поступил на должность учителя в пансион на улице Эстрапад с окладом в тысячу восемьсот франков. Это было для него целое состояние; если жить экономно, думал он, можно откладывать деньги для будущего устройства Кеню. Восемнадцатилетнего малого Флоран все еще опекал, как барышню, которую нужно обеспечить приданым.

Во время недолгой болезни брата Кеню тоже предавался размышлениям. Однажды утром он объявил, что хочет работать, что он уже вполне взрослый и сам может себя прокормить. Флоран был глубоко тронут. На той же улице напротив жил часовщик, и мальчик целый день наблюдал, как он, согнувшись над залитым светом столиком у окна, перебирает непонятные хрупкие вещицы, терпеливо разглядывая их в лупу. Кеню пленился им и уверял, что мечтает стать часовых дел мастером. Но через две недели он потерял свою уверенность и разревелся, как десятилетний мальчишка, говоря, что специальность часовщика слишком сложна, что он никогда не запомнит «все эти маленькие штучки, которые засовываются в часы». Теперь он предпочитал ремесло слесаря. Но и слесарное дело ему разонравилось. За два года он перепробовал больше десятка профессий. Флоран считал, что Кеню прав, что профессию надо выбирать себе по сердцу. Однако благородная самоотверженность Кеню, пожелавшего зарабатывать на жизнь, чувствительно сказалась на бюджете. С тех пор как Кеню стал ходить в мастерские, появились бесконечные новые расходы: на одежду, на завтраки вне дома, на угощение товарищей-новичков. Тысячи восьмисот франков Флорана уже не хватало. Ему пришлось взять еще два урока, которые он давал по вечерам. Он носил один и тот же сюртук восемь лет.

У братьев завелся друг. Одной своей стороной их дом выходил на улицу Сен-Жак, где открылась большая закусочная; ее содержал почтенный человек, по фамилии Гавар, жена которого угасла от чахотки среди густого чада жарившейся птицы. Иногда Флоран возвращался домой слишком поздно, чтобы успеть сварить хотя бы кусок мяса; он покупал в закусочной за двенадцать су кусок индейки или гусятины. В такие дни у них был настоящий пир. Постепенно Гавар заинтересовался своими покупателями, узнал историю этого худого юноши, проявил участие к мальчику. Вскоре Кеню стал завсегдатаем закусочной. Едва старший брат уходил, Кеню усаживался в глубине лавки Гавара, с упоением следя, как, тихо поскрипывая, вращаются четыре гигантских вертела перед высокими, светлыми языками пламени.

Широкая медная облицовка камина сияла, от птицы шел пар, жир, стекавший в подставленный чугунок, звенел, и мало-помалу вертела заводили разговор друг с дружкой, ласково бормотали что-то Кеню, а он, вооружившись разливательной ложкой, благоговейно поливал подливкой зарумянившееся брюшко круглобоких гусей и величественных индеек. Он проводил так часы, весь красный в пляшущих отсветах огня, немного одуревший, безотчетно улыбаясь здоровенным птичищам, которые здесь жарились; он пробуждался от грез, лишь когда тушки снимали с вертелов. Птицы падали на блюда; еще дымящиеся вертела выскальзывали из их брюха через отверстия в гузке и шейке, из опростанных утроб струился сок, наполняя лавку крепким запахом жаркого. Мальчик стоя следил за всей этой процедурой, хлопал в ладоши, говорил птицам, что получились они превкусные, что их съедят целиком, а кошкам достанутся одни косточки. И он дрожал от удовольствия, когда Гавар давал ему ломоть хлеба, который он с полчаса томил в чугунке с подливкой.

Именно там, конечно, и пристрастился Кеню к кулинарии. Впоследствии, перепробовав все профессии, он неизбежно должен был вернуться к жаренным на вертеле тушкам, к соусам, после которых пальчики оближешь. Сначала он боялся вызвать неудовольствие брата, – Флоран ел мало и говорил о лакомых блюдах с презрением профана. Но затем, видя, что Флоран слушает его, когда он объясняет ему способ приготовления какого-нибудь очень сложного блюда, Кеню признался в своей склонности и поступил в большой ресторан. Отныне жизнь обоих братьев наладилась. Они продолжали жить в комнате на улице Руайе-Коллар, где сходились по вечерам: один возвращался от своей плиты с сияющим лицом, другой – с ввалившимися щеками, измученный невзгодами учителя, таскающегося по урокам. Флоран, даже не сменив свое черное отрепье, брался за тетради учеников; Кеню же вновь, чтобы было повольготней, облачался в свой передник, в белую куртку, в колпак поваренка и вертелся у плиты, готовя для собственного развлечения какое-нибудь изысканное жаркое. Порой они посмеивались, поглядывая друг на друга: один весь в белом, другой весь в черном. Казалось, их большая комната и радуется этому веселью, и опечалена этим трауром. Такой несходной и такой дружной четы свет еще не видывал. Как бы ни худел старший, сжигаемый страстями, унаследованными от отца, как бы ни толстел младший, будучи достойным сыном нормандца, обоих братьев объединяла любовь, впитанная с молоком их общей матери – женщины, которая была сама нежность.

У них оказался родич в Париже, дядя по матери, некий Градель, открывший колбасную на улице Пируэт, в районе рынка. Это был завзятый скряга, грубый человек, который обошелся с ними как с нищими, когда они в первый раз к нему

явились. И племянники бывали у него редко. Кеню, в день именин старика, преподносил ему букет, за что получал десять су. Флоран, болезненно гордый, страдал, когда Градель пристально смотрел на его ветхий сюртук и в глазах его можно было прочесть беспокойство и подозрительность скряги, почуявшего, что гость попросит накормить его обедом или дать пять франков. Флоран, по своему простодушию, как-то разменял у дяди стофранковую кредитку. С тех пор старик не так пугался, когда к нему приходили «мальчики», как он их называл. Однако тем его расположение и ограничивалось.

Эти годы прошли для Флорана, как долгий, сладкий и грустный сон. Он изведал все горькие радости самоотверженной любви. Дома его встречала только ласка. А вне дома, когда его унижали ученики и грубо толкали прохожие на тротуарах, Флоран чувствовал, что озлобляется. Уснувшее было честолюбие восставало. Понадобились долгие месяцы, чтобы заставить Флорана согнуть спину и примириться со страданиями некрасивого, заурядного, бедного человека. Стремясь избавиться от искушавшего его озлобления, он впал в другую крайность – безграничной, идеальной доброты, он создал себе прибежище абсолютной справедливости и правды. Тогда-то он и стал республиканцем; он весь ушел в республику, – так иная девушка, отчаявшись, уходит в монастырь. И, не обнаружив нигде республики, которая была бы настолько мягкой и безбурной, чтобы утишить его горести, он выдумал свою собственную. Книги ему разонравились; груды бумаги, испещренной черными значками, окружавшей его всю жизнь, напоминали о зловонном классе, о шариках из жеваной бумаги, которыми кидали в него мальчишки, о пытке долгих, бесплодных часов. Кроме того, книги говорили ему только о восстании, подстрекали его честолюбие, а ведь он чувствовал необоримую потребность в забвении и покое. Убаюкать себя, уснуть, увидеть себя во сне совершенно счастливым, грезить, что и мир станет счастливым, строить в мечтах город-республику, где он хотел бы жить, – вот в чем находил он отдохновение, чем вечно был занят в часы досуга. Он больше не читал книг, кроме нужных для преподавания; он поднимался на улицу Сен-Жак, до внешних бульваров, иногда делал большой крюк, возвращаясь через Итальянскую заставу; и всю дорогу, устремив взгляд на квартал Муфтар, раскинувшийся внизу у его ног, он обдумывал меры морального воздействия, сочинял гуманные законы, которые превратят этот страдающий город в город счастья. Когда февральские дни обагрили кровью Париж, Флоран был убит горем, он ходил по клубам, требуя, чтобы республиканцы всего мира братским поцелуем искупили пролитую кровь. Он стал одним из тех вдохновенных ораторов, которые проповедовали революцию, как новую религию, проникнутую идеей кротости и искупления. И только декабрьские дни освободили его от этой вселенской любви. Он был обезоружен. Он дался в руки, как баран, а обошлись с

ним, как с волком. Когда же прошло упоение идеями братства, он подыхал с голоду на холодных плитах тюремной камеры в Бисетре.

Кеню, которому тогда минуло двадцать два года, пришел в ужас, увидев, что брат не вернулся домой. На другой день он отправился искать его на Монмартрском кладбище среди убитых на бульваре; трупы лежали рядами, прикрытые соломой; мелькали лица, страшные лица. Мужество оставило его, слезы застилали глаза, ему пришлось дважды пройти между рядами трупов. Наконец, через семь мучительно долгих дней, он узнал в полицейской префектуре, что брат в тюрьме. Видеть его было запрещено. А так как он настаивал, ему и самому пригрозили арестом. Тогда Кеню побежал к дядюшке Граделю, который в его глазах был лицом влиятельным, надеясь уговорить его спасти Флорана. Но дядюшка Градель разгневался; он заявил, что Флорана взяли за дело, что нечего было этому длинному дурню путаться с республиканской сволочью, добавил даже, что Флорану суждено было плохо кончить, это у него и на физиономии написано. Кеню исходил слезами. Он не двигался с места, захлебываясь от рыданий. Немного пристыженный дядюшка, чувствуя, что надо бы как-то помочь бедному малому, предложил Кеню остаться у него. Градель знал о его кулинарном искусстве, кроме того, нуждался в помощнике. Кеню так боялся вернуться один домой в огромную комнату на улице Руайе-Коллар, что принял предложение дяди. В тот же вечер он остался у него ночевать на чердаке, в темном чуланчике, где еле мог вытянуть ноги. Но плакал он там меньше, чем плакал бы у себя дома, перед пустой кроватью брата.

Наконец ему удалось получить свидание с Флораном. Но, вернувшись из Бисетра, он слег; его свалила горячка, и он три недели пролежал в тупом забытьи. То была его первая и последняя болезнь. Градель желал своему племяннику-республиканцу провалиться в тартарары. Однажды утром, когда дядюшка узнал о высылке Флорана в Кайенну, он растолкал Кеню, грубо сообщил ему эту новость и вызвал такой кризис, что на следующий день юноша был уже на ногах. Его горе растаяло: казалось, его рыхлое тело поглотило последние слезы. Через месяц он уже смеялся, сердясь на себя и огорчаясь, что смеется, затем жизнерадостность взяла верх, и он снова смеялся, сам того не замечая.

Кеню научился колбасному делу. Оно доставляло ему еще больше удовольствия, чем поваренное искусство. Но дядюшка Градель говорил ему, что не следует слишком пренебрегать кастрюльками: колбасник, который при этом и хороший

повар, – редкость, и Кеню повезло, что он попал к нему, поработав сначала в ресторане. Впрочем, старик использовал таланты Кеню: заставлял его готовить блюда для банкетов, а в особенности – жаренное на рашпере мясо и свиные отбивные с корнишонами. Юноша оказывал ему весьма существенные услуги, поэтому Градель на свой лад любил его и, будучи в добром расположении духа, трепал по плечу. Старик продал убогую мебель на улице Руайе-Коллар и оставил у себя вырученную сумму в сорок с чем-то франков, по его словам, для того, чтобы баловник Кеню не сорил деньгами. Правда, потом он уже стал выдавать Кеню по шесть франков в месяц на его нехитрые развлечения.

Кеню нуждался в деньгах, подчас терпел грубое обращение – и все-таки был совершенно счастлив. Ему нравилось, когда его жизнью распоряжались другие. Флоран слишком долго воспитывал его, как праздную барышню. Кроме того, Кеню завел себе приятельницу у дядюшки Граделя. Когда старик овдовел, ему понадобилась продавщица. Он приглядел себе здоровую, аппетитную девушку, ибо знал, что такая продавщица тешит глаз покупателя и служит украшением колбасной лавки. У Граделя была знакомая дама на улице Кювье подле Ботанического сада, покойный муж которой когда-то служил директором почты в Плассане, в одной из супрефектур на юге. Дама эта, скромно жившая на маленькую пожизненную ренту, привезла с собой в Париж красивую девочку-толстушку, к которой относилась как к родной дочери. Лиза ходила за ней с невозмутимым видом, характер у нее был ровный; подчас она казалась чересчур серьезной, но стоило ей улыбнуться, как она превращалась в настоящую красавицу. Секрет ее обаяния заключался в чудесном умении улыбаться, хоть редко, но метко. Тогда взгляд ее был сама ласка; ее обычная серьезность делала бесценной это неожиданно в ней проявлявшееся искусство обольщения. Старушка говаривала, что за улыбку Лизы готова хоть в ад. Почтенная дама скончалась от припадка астмы, завещав приемной дочери все сбережения – десять тысяч франков. Неделю Лиза провела одна в своей квартире на улице Кювье. Сюда-то Градель и пришел за нею. Он ее знал: Лиза часто сопровождала хозяйку, когда та захаживала к нему на улицу Пируэт. А на похоронах она показалась Граделю такой похорошевшей, такой статной, что он решил проводить покойницу до кладбища. Пока гроб опускали в могилу, Градель сообразил, что Лиза будет великолепно выглядеть в колбасной. Взвесив все, он надумал предложить ей тридцать франков в месяц с квартирой и с едой. Когда он сделал это предложение, Лиза попросила дать ей сутки на размышление, после чего утром она явилась с маленьким узелком и десятью тысячами франков за корсажем. Через месяц все в доме стали ее рабами, начиная с Граделя и Кеню и кончая последним поваренком. Но особенно – Кеню: ради нее он способен был бы отрубить себе руку. Стоило ей улыбнуться, как он и сам начинал смеяться от

радости, любуясь этой нечаянной улыбкой.

Отец Лизы – она была старшей дочерью Маккара из Плассана – еще жил в то время. Лиза говорила, будто он за границей, и никогда с ним не переписывалась. Подчас она вскользь замечала, что покойница мать при жизни была очень работящая и что она, Лиза, пошла в мать. Действительно, она отличалась большим терпением и трудолюбием. Но Лиза добавляла, что ее добрая матушка проявила немало настойчивости, когда так убивалась ради благополучия семьи. И Лиза начинала рассуждать об обязанностях жены и мужа весьма разумно и добропорядочно, чем приводила в восторг Кеню. Он уверял, что и сам придерживается совершенно тех же взглядов. А взгляды Лизы заключались в том, что все должны трудиться, чтобы есть; всяк своему счастью кузнец; поощряя лень, мы сеем зло; словом, ежели на свете есть несчастные, то да будет это наукой бездельникам. Этим совершенно явно выносился приговор пьянству и легендарному тунеядству старика Маккара. В Лизе помимо ее сознания говорил голос Маккаров: она сама была лишь детищем Маккаров, но детищем благопристойным, рассудительным, логичным в своих стремлениях к довольству, усвоившим ту истину, что как постелешь, так и выспишься. Помыслам о мягкой постельке в жизни она и отдавала все свое время. С шести лет она соглашалась смирно сидеть на своем детском стульчике, при условии, что вечером ее вознаградят за послушание сладким пирогом.

Служа у колбасника Граделя, Лиза продолжала жить спокойной, размеренной жизнью, освещая ее своими ослепительными улыбками. Она не случайно приняла предложение старика; она сумела сделать его своим покровителем, и, может статься, чутье, присущее людям удачливым, подсказало ей, что в темной лавочке на улице Пируэт ее ждет прочное будущее, о каком она мечтала: жизнь, полная здоровых радостей, и неутомительная работа, каждый час которой вознаграждает себя с лихвой. Она так же спокойно и заботливо наводила порядок на своем прилавке, как ходила прежде за вдовой директора почты. Вскоре безукоризненная чистота Лизиных передников вошла в поговорку у жителей квартала. Дядюшка Градель был так доволен своей красивой продавщицей, что иногда, перевязывая бечевкой колбасы, говорил Кеню:

– Если бы мне не стукнуло шестьдесят, я, честное слово, свалял бы дурака и женился бы на ней… Для торговли, мальчик мой, такая женщина – все равно что наличные деньги.

Кеню усердно поддакивал. Однако он искренне расхохотался, когда сосед однажды заподозрил его в том, что он влюблен в Лизу. Он не знал любовных мук. Они с Лизой были в самых приятельских отношениях. Вечером, отправляясь спать, они вместе поднимались наверх по лестнице. Лиза занимала каморку рядом с чуланом, где помещался Кеню, она всю ее убрала кисейными занавесками, и комнатка стала совсем светленькой. Обычно на лестничной площадке они останавливались, чтобы немножко поболтать, стоя со свечой в руках и отпирая ключом свои комнаты. Затем закрывали за собой дверь, дружески говоря:

– Спокойной ночи, мадемуазель Лиза!

– Спокойной ночи, господин Кеню!

Кеню ложился в постель, слушая, как хлопочет за стеной Лиза. Перегородка была настолько тонка, что он мог угадать все ее движения. Он думал: «Ага! Она задергивает оконные занавески. А что бы это ей вздумалось делать перед комодом? Ага! Села и снимает туфли. Вот те на! Она, ей-богу же, задула огонь! Теперь бай-бай!» А услышав, как скрипит под ней кровать, он со смехом шептал: «Ну и ну! Про барышню Лизу не скажешь, что она легковесная». Его забавляла эта мысль; но, засыпая, он думал об окороках и ломтях свежепросольной свинины, которые ему надо завтра приготовить.

Так продолжалось год, и это не вызывало ни краски на щеках Лизы, ни смущения в Кеню. Утром, в разгар работы, когда девушка приходила на кухню, их руки встречались при разделке мяса. Иногда она ему помогала, держа в своих пухлых пальчиках свиную кишку, которую он шпиговал мясом и кусочками сала. Иногда они поочередно пробовали на кончик языка сырой фарш для сосисок, чтобы проверить, хорошо ли он приправлен. Лиза была дельной советчицей, она знала рецепты южных блюд, которые он с успехом испробовал. Нередко, когда она стояла за его плечом, заглядывая в котелки, он чувствовал, как ее тяжелая грудь касается его спины. Лиза подавала ему то ложку, то блюдо. Жаркий огонь печки румянил их щеки. Но ни за что на свете Кеню не бросил бы мешать жирное месиво, которое густело на плите; а она с полной серьезностью обсуждала, достаточно ли уварилось мясо. После обеда, когда лавка пустела, они часами спокойно разговаривали. Она сидела, немного откинувшись, у себя за прилавком и спокойно, размеренно вязала. Он усаживался на колоду для рубки мяса и болтал ногами, стуча каблуками по дубовому чурбаку. Они отлично ладили друг с другом; говорили обо всем: чаще всего о делах кулинарных, потом о дядюшке

Граделе и еще – о событиях в их квартале. Лиза рассказывала ему, точно ребенку, сказки: она знала прелестные сказки, всякие предания, полные чудес, в которых действовала уйма агнцев и ангелочков; рассказывала Лиза певучим голосом, с присущей ей серьезностью. Если заходила покупательница, Лиза, чтобы не вставать с места, просила Кеню подать банку лярда или коробку с улитками. В одиннадцать часов оба поднимались наверх спать, – неторопливо, так же как накануне. Затем, затворяя за собой дверь, невозмутимо говорили:

– Спокойной ночи, мадемуазель Лиза!

– Спокойной ночи, господин Кеню!

Однажды утром, когда дядюшка Градель готовил заливное, его хватил апоплексический удар. Он упал ничком прямо на стол для разделки мяса. Лиза не потеряла своего обычного хладнокровия. Сказав, что нельзя оставлять мертвеца посреди кухни, она велела унести его подальше в каморку, где дядюшка спал. Затем придумала вместе с подручными Граделя целую историю о его смерти: дядюшка обязан был помереть на своей кровати, иначе жители квартала станут брезгать их лавкой, и можно потерять покупателей. Кеню помог перенести покойника; он совсем ошалел и очень удивлялся, что слезы не идут из глаз. Попозже они с Лизой все-таки поплакали вдвоем. Кеню и Флоран были единственными наследниками Граделя. Кумушки на соседних улицах приписывали старику большое состояние. В действительности же не удалось обнаружить ни одного экю наличными деньгами. Но Лиза не успокоилась. Кеню видел, что с утра до вечера она думает о чем-то и все вглядывается вокруг, словно что-нибудь потеряла. Наконец она решила устроить генеральную уборку, сославшись на то, что люди судачат о них: стало известно, как умер старик, и поэтому нужно навести чистоту. Однажды после обеда, проведя два часа в погребе, где она собственноручно мыла солильные кадки, Лиза появилась, неся что-то в подоле передника. Кеню рубил сечкой свиную печенку. Лиза подождала, пока он кончил, разговаривая с ним спокойнейшим образом, – только глаза ее необычно блестели. Улыбнувшись своей пленительной улыбкой, она сказала, что ей нужно с ним кое о чем потолковать. По лестнице Лиза поднималась с трудом: ее движения стесняла ноша, от которой передник так натянулся, что, казалось, вот-вот лопнет. На четвертом этаже Лиза вынуждена была постоять, опершись на перила, чтобы перевести дух. Удивленный Кеню молча следовал за ней до самой ее комнаты. Впервые Лиза пригласила его войти. Она заперла дверь; затем осторожно разжала онемевшие пальцы, которые устали сжимать концы передника, и на ее кровать обрушился ливень

серебряных и золотых монет. Лиза обнаружила сокровище дядюшки Граделя на дне солильной кадки. Под тяжестью этой груды денег на чистой, мягкой девичьей постели образовалась глубокая вмятина.

Лиза и Кеню выражали свою радость сдержанно. Они сели на край кровати – Лиза в изголовье, Кеню в ногах – по обеим сторонам груды монет и сосчитали их тут же, прямо на покрывале, чтобы не звенеть деньгами. Всего оказалось сорок тысяч франков золотом, три тысячи франков серебром и в жестяной коробке сорок две тысячи франков банковыми билетами. У них ушло на подсчеты добрых два часа. Руки у Кеню немного дрожали. Больше всего пришлось потрудиться Лизе. Они складывали золото стопками на подушке, оставляя серебро в ямке на постели. После того как они подвели итог, выразившийся в огромной для них цифре – восьмидесяти пяти тысячах франков, у них состоялся разговор. Разумеется, они говорили о будущем, о своей женитьбе, хотя о любви у них никогда не было речи. Эти деньги словно развязали им языки. Они уселись поглубже на постели под кисейным белым пологом, опершись спиной о стену за кроватью и вытянув ноги; разговаривая, они все время перебирали деньги, и поэтому руки их встречались, замирали одна в другой среди пятифранковых монет. Так их застали сумерки. Тут только Лиза опомнилась и покраснела, увидев, что сидит рядом с молодым человеком. Они разорили всю постель, простыни съехали набок, золото на подушке между Лизой и Кеню оставило вдавлины, словно здесь метались пылающие страстью любовники.

Они встали, ощущая неловкость, смутившись, как влюбленная пара, которая впервые согрешила. Растерзанная постель, заваленная деньгами, уличала их в том, что они вкусили запретных радостей за запертой дверью. То было их первое грехопадение. Лиза, оправив платье, с таким видом, словно она совершила что-то дурное, принесла свои десять тысяч франков. Кеню попросил ее присоединить их к дядюшкиным восьмидесяти пяти тысячам; он, смеясь, перемешал деньги, сказав, что они тоже должны пожениться; затем было условлено, что Лиза будет хранить «клад» у себя в комоде. Когда она его заперла и привела в порядок постель, они спокойно спустились в лавку. Они были муж и жена.

Свадьба состоялась в следующем месяце. Обитатели квартала сочли их брак естественным и совершенно благоприличным. История сокровища была в общих чертах известна; люди на все лады восхваляли честность Лизы: ведь она могла ничего не сказать Кеню, оставить себе найденные золотые; если она ему об этом сказала, то лишь из чистой честности, никто же не видел, как она нашла деньги!

Она вполне заслуживала, чтобы Кеню на ней женился. И Кеню просто повезло: красавцем его не назовешь, а нашел же красавицу жену, которая откопала для него клад. В своем восхищении Лизой некоторые заходили так далеко, что даже потихоньку говорили, будто Лиза «и вправду поступила как дура, если так поступила». Лиза улыбалась, слушая эти толки, пересказываемые ей в смягченной форме. Они с мужем жили, как прежде, в доброй дружбе, мирно и счастливо. Она помогала ему, руки их встречались в груде фарша; она, как и прежде, наклонялась над его плечом, заглядывая в котелок. И если кровь приливала к их лицам, то только от пылавшего в кухонной плите огня.

Однако Лиза была умной женщиной; она быстро смекнула, что глупо держать девяносто пять тысяч франков в ящике комода, не пуская их в оборот. Кеню охотно положил бы их обратно в солильную кадку, пока они не заработают столько же; тогда они уедут в Сюрень, в их любимый пригородный уголок. Но у Лизы были другие замыслы. Улица Пируэт противоречила ее понятиям об опрятности, ее тяге к чистому воздуху, к свету, к крепкому здоровью. Лавка, где дядюшка Градель по одному су накопил свое богатство, смахивала на черную длинную кишку и принадлежала к той разновидности подозрительных колбасных в старых кварталах города, где потертые плиты пола долго еще пахнут тухловатым мясом, как их ни мой; молодая женщина мечтала о светлом, похожем на роскошную гостиную, современном магазине, прозрачные витрины которого выходили бы на тротуар широкой улицы. Впрочем, это не было продиктовано мелким желанием разыгрывать из себя даму за прилавком: Лиза ясно сознавала, что в торговле нового типа роскошь стала необходимостью. Кеню испугался, когда жена впервые заговорила о переезде и предложила потратить часть их денег на отделку магазина. Она чуть пожала плечами, улыбаясь.

Однажды под вечер, когда в колбасной было темно, супруги услышали, как у их дверей одна из обитательниц квартала говорила другой:

– Ну нет, моя милая! Больше я у них не покупаю, ни кусочка кровяной колбасы не возьму… У них на кухне лежал покойник!

Кеню даже всплакнул. История о покойнике на кухне получила распространение. Кеню дошел до того, что краснел перед покупателями, когда замечал, что они слишком откровенно нюхают его колбасу. Он сам возобновил разговор с женой о переезде. Ни слова не говоря, она занялась поисками нового помещения; нашла она его в нескольких шагах от дома, на улице Рамбюто, в отличном месте. То

обстоятельство, что напротив открывался Центральный рынок, должно было утроить число покупателей, создать известность заведению во всех концах Парижа. Кеню позволил втянуть себя в безумные расходы: свыше тридцати тысяч франков он вложил в отделку магазина, потратил на мрамор, на зеркальное стекло, на позолоту. Лиза проводила долгие часы с рабочими, входя с ними в обсуждение мельчайших деталей. Когда наконец она заняла свое место за прилавком, покупатели валом повалили, и только для того, чтобы увидеть колбасную. Облицовка стен была вся из белого мрамора, огромное квадратное зеркало на потолке обрамляла широкая полоса золоченых, богато орнаментированных лепных украшений; в центре этого зеркального потолка висела люстра с четырьмя рожками; а цельное зеркало, занимавшее весь простенок за прилавком, и другие зеркала в мраморных рамах – слева и в глубине – казались озерами света, дверьми, которые открывались в другие залы, умноженные до бесконечности, доверху наполненные выставленными мясными яствами. Особенно хвалили огромный прилавок, помещавшийся справа; все находили, что розовые мраморные ромбы, сделанные в виде симметричных медальонов, – чудесная работа. Пол был выстлан белыми и розовыми плитками с бордюром из темно-красного греческого орнамента. Квартал гордился своей колбасной, и никому больше не приходило в голову судачить о кухне на улице Пируэт, где лежал покойник. В течение целого месяца соседки останавливались на тротуаре, чтобы сквозь развешанные на витрине колбасы и бараньи сальники поглядеть на Лизу. Они любовались ее бело-розовой кожей не меньше, чем мрамором. Она казалась душой, живым источником света, здоровым и надежным божком колбасной; отныне ее иначе не называли, как «красавица Лиза».

Дверь справа вела из лавки в столовую, очень чистую комнату с буфетом, обеденным столом и стульями из светлого дуба, с плетеными сиденьями. От циновки на паркете, палевых бумажных обоев и светлой клеенки под дуб комната казалась холодноватой; уют придавала ей только сверкающая медью висячая лампа, которая спускалась с потолка, раскинув прямо над столом абажур из прозрачного фарфора. Дверь из столовой вела в просторную квадратную кухню. А кухня сообщалась с мощеным двориком, который служил складочным местом и был заставлен глиняными мисками, бочонками, всякой негодной домашней утварью; слева от колодца, подле канавы, куда выливали помои, увядали поблекшие цветы, убранные с витрины.

Дела пошли превосходно. Кеню, которого ужаснули предварительные расходы, теперь проникся чуть ли не почтением к жене, ибо она, как он выражался, женщина «мозговитая». Через пять лет у супругов было около восьмидесяти тысяч франков, выгодно помещенных в государственные процентные бумаги.

Лиза объясняла, что они не честолюбивы, им незачем спешить наживаться, – иначе она бы заставила мужа зарабатывать «тысячи и сотни тысяч», уговорив его заняться оптовой торговлей свиньями. Они ведь еще молоды, у них много времени впереди; к тому же нечестная работа им претит, они хотят работать спокойно, не изнуряя себя заботами, как и положено добрым людям, которым дорога жизнь.

– Да, кстати, – добавляла Лиза в минуты откровенности, – есть у меня в Париже кузен… Я с ним не встречаюсь, наши семьи не ладят. Он переменил фамилию, назвался Саккаром, чтобы люди позабыли о кое-каких его делишках… Так вот, по слухам, кузен этот загребает миллионы. Ну и что ж, он жизни не видит, портит себе кровь, вечно где-то рыщет, вечно занят своими адскими махинациями. Быть не может, – ведь правда? – чтобы такой человек спокойно ел вечером свой обед. Зато мы по крайней мере знаем, что едим. У нас нет таких неприятностей. Деньги любишь только потому, что они нужны для жизни. А жить хочется хорошо, это каждому ясно. Ну, а если зарабатывать деньги только ради денег, если намучаешься от этого больше, чем получишь потом удовольствия, я, честное слово, лучше уж буду сидеть сложа руки… Да кроме того, хотелось бы мне хоть одним глазком поглядеть на эти миллионы моего кузена. Не верю я в этакие миллионы. Я его видела на днях, он ехал в коляске: лицо желтое-прежелтое, а сам насупился. Не такое лицо должно быть у человека, который хорошо зарабатывает. Впрочем, это его дело… По-нашему, лучше уж зарабатывать только сто су, но чтобы эти сто су шли впрок.

И действительно, супругам все шло впрок. В первый же год после их женитьбы у них родилась девочка. И на всех троих приятно было посмотреть. Торговля шла бойко, успешно, не слишком их утомляла, как и хотела Лиза. Она заботливо устраняла все, что могло бы дать повод для беспокойства, стараясь, чтобы дни за днями катились гладко в этом густом, с запахом сала воздухе, среди этого тяжеловесного благополучия. То был уголок, где царило трезвое счастье, уютная кормушка, у которой нагуливали жир мать, отец и дочка. Один Кеню иной раз грустил, вспоминая о своем бедном Флоране. До 1856 года он время от времени получал от него письма. Затем письма перестали приходить; Кеню прочел в газете, что трое заключенных пытались бежать с Чертова острова и утонули, не доплыв до берега. В полицейской префектуре ему не могли дать точную справку; должно быть, брат его умер. Проходили месяцы, и все же Кеню продолжал надеяться. Флоран, который скитался тогда по Голландской Гвиане, остерегался писать, не потеряв еще надежду, что доберется до Франции. В конце концов Кеню стал его оплакивать, как покойника, с которым не довелось даже проститься. Лиза не знала Флорана. Но она неизменно находила для мужа

слова утешения, когда он начинал горевать; она позволяла ему сотни раз рассказывать всякую всячину об их юности, о большой комнате на улице Руайе-Коллар, о тридцати шести профессиях, которым он обучался, о лакомых блюдах, которые он готовил в печке, одетый во все белое, тогда как Флоран был весь в черном. Она слушала его спокойно, с бесконечной снисходительностью.

Вот сюда-то и нагрянул однажды сентябрьским утром Флоран, в самую пору расцвета этих радостей, которые столь мудро взращивали и лелеяли, в час, когда Лиза принимала свою утреннюю солнечную ванну, а Кеню с заспанными глазами лениво пробовал пальцем застывшее накануне сало. Все в колбасной пошло вверх дном. Гавар, надувая для важности щеки, требовал, чтобы «изгнанника», как он именовал Флорана, спрятали. Лиза, побледневшая и еще более серьезная, чем обычно, наконец повела Флорана на шестой этаж, где поместила его в комнате своей продавщицы. Кеню отрезал ему ломоть хлеба и ветчины. Но Флоран едва мог есть, у него кружилась голова, его мутило; свалившись в постель, пять дней он провел в бреду; началось воспаление мозга, которое удалось преодолеть с помощью энергичных мер. Придя в себя, Флоран увидел у своего изголовья Лизу; она бесшумно помешивала ложечкой питье в чашке. Когда он попытался выразить ей благодарность, Лиза сказала, что он должен лежать смирно, они поговорят поздней. Через три дня Флоран был уже на ногах. И вот как-то утром Кеню пришел за ним, объяснив, что Лиза ждет их обоих у себя в комнате, на втором этаже.

Супруги занимали там небольшую квартирку – три комнаты с чуланом. Сначала нужно было пройти пустую комнату, в которой стояли лишь стулья, затем маленькую гостиную, где в полумраке, при спущенных жалюзи – дабы не выгорел от яркого солнца нежно-голубой репс, – мирно дремала мебель в белых чехлах, а из гостиной дверь вела в единственную действительно жилую комнату – спальню, с мебелью красного дерева, весьма комфортабельную. Особенно поражала кровать с четырьмя тюфяками, четырьмя подушками, толстыми одеялами и пуховиком – пузатая, так и баюкающая в глубине сыроватого алькова. Эта кровать была создана для сна. Зеркальный шкаф, туалетный столик-комод, круглый одноногий столик под вязанной крючком скатертью, стулья с квадратными гипюровыми салфеточками на спинках – от всего этого веяло мещанской роскошью, опрятной и солидной. Слева на стене, по бокам камина, украшенного вазами с пейзажами, гравированными на меди, и часами с позолоченной фигурой Гутенберга, задумчиво опиравшегося перстом на книгу, висели масляные портреты Кеню и Лизы в овальных рамках с богатым резным орнаментом. Кеню улыбался, у Лизы был вид очень комильфо; оба – в черной одежде, с гладкими водянисто-розовыми, расплывшимися лицами, черты

которых льстиво приукрасил художник. Паркет в спальне был покрыт трипом с замысловатым рисунком из розеток вперемешку со звездочками. Перед кроватью лежал пушистый коврик, сделанный из крученой шерсти, – плод долготерпения прекрасной колбасницы, связавшей его за прилавком. Но удивительно было то, что среди этих новеньких вещей стоял справа у стены большой старинный секретер, квадратный, приземистый, который пришлось только отлакировать, – заделать щербины на его мраморной доске и скрыть трещины в красном дереве, почерневшем от старости, оказалось невозможным. Лиза хотела сохранить этот секретер, служивший дядюшке Граделю более сорока лет; она уверяла, будто он принесет им счастье. А дело объяснялось тем, что секретер был укреплен железными скобами, снабжен крепчайшим замком, словно двери тюрьмы, и так тяжел, что его не могли сдвинуть с места.

Когда Кеню и Флоран вошли, Лиза сидела за откинутой доской секретера и что-то писала, выводя ряды цифр своим крупным, круглым и очень четким почерком. Она знаком дала понять, чтобы ей не мешали. Мужчины уселись. Флоран удивленно рассматривал комнату, два портрета, часы, кровать.

– Вот, – сказала наконец Лиза, тщательно проверив всю страницу с вычислениями. – Выслушайте меня… Мы обязаны представить вам отчет, дорогой Флоран.

Она называла его так впервые. Взяв листок со своими выкладками, она продолжала:

– Ваш дядя Градель умер, не оставив завещания; вы двое – вы и ваш брат – были единственными наследниками… Сейчас мы вам должны выдать вашу долю.

– Но я ничего не требую, – воскликнул Флоран, – мне ничего не надо!

Должно быть, Кеню не знал о намерениях жены. Он немного побледнел и сердито посмотрел на нее. Да, конечно, он очень любит брата; но ведь это нелепо так, сразу, обрушивать на голову Флорана дядюшкино наследство. Потом видно будет.

– Я хорошо знаю, дорогой Флоран, – возразила Лиза, – что вы вернулись не для того, чтобы требовать от нас свою долю. Однако дела есть дела; лучше уж покончить с ними сразу… Сбережения вашего дяди составляли восемьдесят пять

тысяч франков. Значит, я отсчитала для вас сорок две тысячи пятьсот франков. Вот они.

Она показала ему цифру на листке бумаги.

– К сожалению, не так легко определить стоимость лавки, оборудования, товаров, доход от клиентуры. Я могла привести только примерные суммы; но, думается, я все подсчитала, в общем, в круглых цифрах… Получилась сумма в пятнадцать тысяч триста десять франков, из которых на вашу долю причитается семь тысяч шестьсот пятьдесят пять франков, а всего – пятьдесят тысяч сто пятьдесят пять франков. Вы проверите, правда?

Она отчетливо, по слогам, прочла сумму, затем протянула ему листок бумаги, который он вынужден был взять.

– Но колбасная старика никогда не стоила пятнадцать тысяч франков! – воскликнул Кеню. – Я за нее не дал бы и десяти тысяч!

В конце концов жена вывела его из себя. Надо же и в честности меру знать. Разве Флоран спрашивал ее о колбасной? К тому же ему ничего не надо, он так и сказал.

– Колбасная стоила пятнадцать тысяч триста десять франков, – спокойно повторила Лиза. – Вы ведь понимаете, дорогой Флоран, что нотариуса впутывать сюда незачем. Мы сами можем поделить имущество, раз уж вы воскресли из мертвых… С тех пор как вы приехали, я не переставала об этом думать, и пока вы лежали у себя наверху в горячке, я плохо ли, хорошо ли, но старалась, как могла, составить опись имущества… Видите, тут все подробно указано. Я порылась в наших старых конторских книгах, да и память свою призвала на помощь. Читайте вслух, а я вам буду давать разъяснения, если они понадобятся.

Флоран не выдержал и улыбнулся. Его умилила эта широта и честность, по-видимому непритворная. Он положил страницу с расчетами на колени молодой женщины и, взяв ее за руку, сказал:

– Дорогая Лиза, я рад, что дела ваши идут хорошо; но я не приму ваших денег. Наследство принадлежит брату и вам, ведь вы ходили за дядей до его кончины… Мне ничего не нужно, я не собираюсь мешать вам в вашей

коммерции.

Лиза продолжала настаивать, рассердилась даже, а Кеню, сдерживаясь, молчал в бессильной досаде.

– Эх, слышал бы вас дядюшка Градель, – рассмеявшись, сказал Флоран, – он явился бы сюда и отобрал у вас деньги… Он меня недолюбливал, наш дядюшка Градель.

– А вот это верно: он тебя недолюбливал, – пробормотал, изнемогая от волнения, Кеню.

Но Лиза все еще спорила. Она говорила, что не желает держать в своем секретере чужие деньги, что это будет ее мучить, что мысль об этом не даст ей жить спокойно. Тогда Флоран, продолжая шутить, предложил Лизе взять его деньги под проценты и использовать их на колбасную. Впрочем, он не отказывается от помощи; ведь он, конечно, не сразу найдет работу, да и вид у него непрезентабельный, ему нужно одеться с головы до ног.

– Тьфу ты, пропасть! – воскликнул Кеню. – Да ты будешь у нас ночевать, есть и пить с нами, и мы купим тебе все, что нужно. Это дело решенное… Ты ведь знаешь, что мы не оставим тебя на улице, черт подери!

Кеню совсем размяк. Ему даже стало стыдно, что он побоялся отдать сразу такую большую сумму денег. Он стал пошучивать, уверял, что берется откормить брата. Тот ласково покачал головой. Между тем Лиза сложила листок с расчетами и спрятала его в ящик секретера.

– Вы не правы, – сказала она, как бы заключая спор. – Я сделала то, что должна была сделать. А теперь пусть будет по-вашему… Я, знаете, не могла бы спокойно жить. Меня слишком смущают всякие дурные мысли.

Они заговорили о другом. Нужно было объяснить появление Флорана, не возбудив подозрений полиции. Флоран открыл им, что вернулся во Францию благодаря доставшимся ему документам того бедняги, который умер у него на руках в Суринаме от желтой лихорадки. По странному совпадению, этого человека тоже звали Флораном; правда, это его имя, а не фамилия. У Флорана Лакерьера в Париже была только двоюродная сестра, и ему сообщили в Америку

о ее смерти; играть роль Флорана Лакерьера легче легкого. Тогда Лиза сама предложила назваться его кузиной. Решено было распространить слух о том, что кузен Лизы якобы вернулся из-за границы после неудачных поисков счастья и что Кеню-Градели, как называли супругов в их квартале, приютили его, пока он не найдет себе место. Когда они обо всем договорились, Кеню заставил брата осмотреть квартиру, немилосердно требуя, чтобы он оказал внимание всему, вплоть до плохонького табурета. Лиза приоткрыла дверь в пустой комнате, где стояли лишь стулья, и показала Флорану чулан, сказав, что здесь будет спать ее продавщица, а он останется в своей комнате на шестом этаже.

Вечером Флорана одели во все новое. Он настоял, чтобы ему купили, кроме того, черные пальто и брюки, вопреки советам Кеню, уверявшего, что черный цвет нагоняет тоску. Флорана больше не прятали, Лиза рассказывала всем желающим историю своего кузена. Флоран жил в колбасной; он забывался, уйдя в мечты, то на стуле в кухне, то прислонясь к мраморной стенке в лавке. За столом Кеню пичкал его едой и сердился, когда брат оставлял половину наложенного ему на тарелке мяса, – Флоран ел мало. Лиза вновь обрела свою плавную поступь и безмятежный вид; она терпеливо сносила присутствие Флорана даже утром, когда он мешал работе; она забывала о нем, а потом, вдруг увидев перед собой черную фигуру, вздрагивала, но тут же улыбалась своей пленительной улыбкой, не желая его обидеть. Бескорыстие этого тощего человека ее поразило; она прониклась к нему своеобразным уважением, смешанным с безотчетным страхом. Флоран же думал, что окружен большой любовью.

Когда наступал час сна, Флоран, немного усталый от ничем не заполненного дня, поднимался наверх вместе с двумя подручными Кеню, – они занимали каморки рядом с ним под крышей. Одному из них, ученику Леону, едва минуло пятнадцать лет; это был худой подросток, с виду очень смирный, который воровал краюшки окороков и забытые обрезки колбас; он прятал их под подушку, а ночью съедал без хлеба. Несколько раз уже после полуночи Флорану казалось, что Леон угощает кого-то ужином; шептались чьи-то сдавленные голоса, хрустела под зубами еда, шуршала бумага, и в глубокой тишине уснувшего дома звенел серебристый смех, – смех девчонки, похожий на приглушенную трель флажолета. Другой подручный, Огюст Ландуа, приехал из Труа; он был толстый, но полнота эта казалась нездоровой, а на его слишком большой голове уже виднелась лысина, хотя ему исполнилось только двадцать восемь лет. В первый же вечер, поднимаясь по лестнице с Флораном, он долго и невразумительно рассказывал ему свою жизнь. Сначала он приехал в Париж только для того, чтобы усовершенствоваться в своем деле и, вернувшись в Труа, где его ждала кузина – Огюстина Ландуа, открыть колбасную. У них был общий

крестный, они получили одно и то же имя. Но Огюста одолело честолюбие, он стал мечтать о Париже, где обоснуется, пустив в оборот материнское наследство, которое перед отъездом до поры до времени оставил в Шампани на хранении у нотариуса.

Однажды, поднявшись вместе с Флораном на пятый этаж, Огюст задержал его, расхваливая г-жу Кеню. Он рассказал, как хозяйка согласилась вызвать Огюстину Ландуа на место уволенной продавщицы, которая сбилась с пути. Сам он уже изучил свое дело; нужно только Огюстине научиться торговать. Через год-полтора они поженятся, откроют колбасную, – конечно, в Плезансе или в каком-нибудь людном местечке вблизи Парижа. Со свадьбой они не торопятся, потому что сало в этом году не в цене. Огюст рассказал еще, что в день праздника св. Уана они вместе сфотографировались. И тут его потянуло еще раз взглянуть на их фотографию; Огюстина сочла своим долгом оставить ее на камине у Флорана: пусть, мол, у кузена г-жи Кеню будет красиво в комнате! Огюстен на минуту о чем-то замечтался, мертвенно-бледный, в желтых отблесках свечи, которую держал в руке; он осматривал комнату, где все еще было полно воспоминаний об Огюстине, подошел к кровати, спросил Флорана, удобно ли на ней спать. Теперь-то Огюстина ночует внизу, там ей будет лучше, на мансарде зимой очень холодно. Наконец он ушел, оставив Флорана наедине с кроватью и лицом к лицу с фотографией. Огюстен был бледной тенью Кеню; Огюстина – недозрелой Лизой.

Молодые подмастерья относились к Флорану по-приятельски, брат его баловал, а Лиза с ним ладила, и при всем том Флорана одолела отчаянная скука. Он пытался найти уроки, но тщетно. Правда, он избегал университетского квартала, боясь, что его там узнают. Лиза кротко замечала, что неплохо было бы обратиться к каким-нибудь торговым фирмам, там он мог бы вести корреспонденцию, ведать делопроизводством. Она неизменно возвращалась к этой идее и в конце концов предложила сама подыскать ему место. Мало-помалу ее стало раздражать, что он вечно путается под ногами, слоняется без дела, не знает, куда себя девать. Сначала это имело характер обоснованной антипатии к людям, которые сидят сложа руки, да еще едят; она тогда не считала, что Флоран ее объедает. Она говорила:

– Я бы, например, не могла так жить, целый день витая в облаках. Вот вам вечером и есть не хочется… Чтобы нагулять аппетит, надо, знаете ли, сперва потрудиться.

Гавар тоже подыскивал место для Флорана. Но искал он его необычным и совершенно секретным способом. Ему хотелось бы найти для Флорана какое-нибудь драматическое или хотя бы исполненное горькой иронии амплуа, как и подобает «изгнаннику». Гавар был оппозиционером по призванию. Ему перевалило за пятьдесят, и он хвастался тем, что на своем веку резал правду-матку в глаза четырем правительствам. Карл X, попы, дворянчики – обо всей этой швали, которую он выгнал, Гавар еще и сейчас говорил, презрительно пожимая плечами; Луи-Филипп, по его мнению, был просто дураком, вкупе со своими буржуа, и Гавар рассказывал историю о том, как «король-гражданин» прятал свои денежки в шерстяные чулки; что касается республики сорок восьмого года, так это комедия, рабочие его – Гавара – обманули. Однако он не признавался, что приветствовал Второе декабря, ибо теперь считал Наполеона III своим личным врагом: «Сволочь этакая, запирается с Морни и прочими, – что ни день, то попойка!» В рассуждениях на эту тему Гавар был неистощим; понизив голос, он утверждал, будто в Тюильри каждый вечер привозят в закрытых каретах женщин и будто он сам, собственными ушами, слышал как-то ночью, на площади Карусель, шум оргии. Доставлять, поелику возможно, неприятности правительству было для Гавара делом жизни. Он придумывал всякие подвохи, над которыми втихомолку хихикал месяцами. Так он голосовал за кандидата, который, конечно, будет «донимать министров» в Законодательном корпусе. Кроме того, если он, Гавар, мог обмануть казну, сбить с толку полицию, устроить какую-нибудь потасовку, он старался преподнести это как проявление сугубой революционности. Вдобавок он лгал, выдавал себя за человека опасного, разглагольствовал с таким видом, будто «тюильрийская клика» его знает и трепещет перед ним, говорил, что одну половину этих мерзавцев надо отправить на гильотину, а другую – в ссылку, «как только начнется новая заварушка». Таким образом, вся его пустозвонная и свирепая политика держалась на бахвальстве, на баснях, навязших в зубах, на той пошлой потребности в шуме и потехе, которая заставляет парижского лавочника в дни баррикадных боев открывать ставни в своей лавочке, чтобы глазеть на убитых. Поэтому, когда Флоран вернулся из Кайенны, Гавар учуял, что есть возможность выкинуть пакостный фортель, и старался придумать, каким бы особенно остроумным способом ему поиздеваться над императором, правительством, чиновниками, над всеми – до последнего полицейского.

Все поведение Гавара в присутствии Флорана показывало, что он наслаждается запретными радостями. Он ласково ему подмигивал, говорил шепотом о самых простых на свете вещах, пожимал руку с таинственностью масона. Наконец-то ему посчастливилось: он нашел себе действительно скомпрометированного сообщника; теперь он мог без чрезмерного вранья говорить о том, какой

опасности подвергается. Конечно, в нем жил страх – хоть он в этом не признавался – перед человеком, бежавшим с каторги, чья худоба говорила о долгих страданиях; но этот сладостный страх возвышал Гавара в собственных глазах, убеждал в том, что он совершил весьма удивительный поступок, завязав дружбу с чрезвычайно опасным человеком. Флоран стал для него святыней, он божился только Флораном, ссылался на Флорана, если у него иссякали аргументы, а он хотел сразить правительство раз и навсегда.

Жена Гавара умерла еще на улице Сен-Жак, через несколько месяцев после переворота. Он держал закусочную до 1856 года. В то время поговаривали, что Гавар изрядно нажился в компании с соседом-бакалейщиком, который получил подряд на поставку сухих овощей для Восточной армии. В действительности же Гавар продал свою закусочную и жил в течение года на ренту. Но он не любил говорить об источниках своего благосостояния: это его стесняло, мешало ему напрямик выражать свое мнение по поводу Крымской войны, которую он считал рискованным предприятием, «задуманным лишь для того, чтобы укрепить трон и дать возможность кое-кому набить карманы». Через год ему стало смертельно скучно в его холостяцкой квартире. И так как Гавар почти ежедневно наведывался к Кеню-Граделям, он переехал к ним поближе, на улицу Коссонри. Там-то и покорил его Центральный рынок своим гомоном и фантастическими сплетнями. Он решил арендовать место в павильоне живности – только для собственного развлечения, чтобы заполнить свой пустой день базарными пересудами. Отныне он проводил время в бесконечных разглагольствованиях, был в курсе местных событий, вплоть до самого мелкого скандала, голова его так и гудела от визгливых выкриков, которые непрестанно раздавались вокруг. Здесь очень многое приятно щекотало его самолюбие, он блаженствовал, попав в свою стихию, и наслаждался, как карп, плавающий на солнышке. Иногда к нему в лавку заходил Флоран. В послеполуденные часы было еще очень жарко. Сидя вдоль узких проходов, торговки ощипывали птицу. Между спущенными тентами падали полосами солнечные лучи, перья из-под пальцев взлетали в раскаленный воздух, рея в золотой солнечной пыли, словно пляшущие снежинки. Флорана зазывали, уговаривали, заманивали ласковыми словечками: «Хороша уточка, не возьмете ли, сударь?.. Пожалуйте ко мне… У меня жирные цыплятки, просто красавчики, не угодно ли?.. Сударь, сударь, купите парочку голубков…» Он старался отделаться, сконфуженный, оглушенный. Торговки продолжали, перебраниваясь, ощипывать птицу, и тучи тоненьких пушинок падали на него, душили, как дым; казалось, от них веет еще теплым, густым и крепким запахом живности. Наконец посреди галереи, у фонтанов, он заставал Гавара в одном жилете, синем переднике, ораторствующего, скрестив руки на груди, перед своей лавкой. Здесь Гавар царил безраздельно, но как милостивый

властелин, среди кучки в десять-двенадцать женщин. Он был единственным на рынке мужчиной. Гавар перессорился из-за своего длинного языка со всеми пятью или шестью продавщицами, которых он нанимал поочередно, и теперь решил сам отпускать товар покупателям, наивно жалуясь, что его дурехи день-деньской чесали языки и он никак не мог положить этому конец. Но кто-то должен был заменять Гавара в его отсутствие, поэтому он нанял Майорана, который слонялся без дела, после того как перепробовал все виды легкого заработка на рынке. Флоран иной раз проводил часок у Гавара, восхищаясь его неистощимым злословием, его бравым видом, непринужденностью, с какой он держится среди всех этих баб: обрежет одну, с другой перебранивается через десять лавок от своей, у третьей отобьет покупателя, и один производит больше шума, чем сто с лишним его соседок, от галдежа которых звонко гудели, словно тамтамы, чугунные плиты павильона.

У Гавара не осталось никаких родственников, кроме свояченицы и племянницы. Когда умерла его жена, старшая сестра ее – г-жа Лекер, с год назад овдовевшая, оплакивала ее с чрезмерным старанием и каждый вечер ходила утешать несчастного супруга. Должно быть, она тогда задумала пленить его и занять еще тепленькое место покойницы. Но Гавар терпеть не мог тощих женщин; по его словам, ему делалось тяжело на душе, когда он чувствовал, что у дамы под кожей кости. Он гладил только очень жирных кошек или собак, ему доставляли особенное удовольствие пышные, упитанные телеса. Г-жа Лекер была оскорблена, взбешена, увидев, что пятифранковики хозяина закусочной ускользают из ее рук; она затаила смертельную злобу. Зять стал для нее врагом, о котором она думала ежечасно. Когда он открыл лавку на Центральном рынке, в нескольких шагах от павильона, где она торговала маслом, сыром и яйцами, она обвинила его в том, что он «придумал это, чтобы досадить ей и накликать на нее беду». С тех пор она вечно жаловалась, еще больше пожелтела лицом и так прочно вбила себе в голову собственные измышления, что действительно потеряла покупателей, и дела ее пошатнулись. Долгое время на попечении г-жи Лекер жила племянница, дочь ее сестры-крестьянки, приславшей ей девочку, на чем и кончились заботы матери о ребенке. Девочка росла на рынке. Фамилия ее была Сарье, поэтому ее вскоре перекрестили в Сарьетту, иначе и не называли. В шестнадцать лет Сарьетта была плутоватой девицей, и «господа» захаживали к г-же Лекер за сыром только для того, чтобы повидать Сарьетту. Но Сарьетте господа не нравились, эту темноволосую девушку с бледным чистым лицом и огненными глазами тянуло к простонародью. Она остановила свой выбор на рассыльном тетки, носильщике, который был из Менильмонтана. Когда Сарьетта в двадцать лет открыла фруктовую лавку на какие-то деньги, источник которых так и остался не вполне ясным, ее любовник, именуемый господином Жюлем,

стал отныне беречь свои руки, носить чистые блузы и бархатный картуз, появляться на рынке только после обеда и в домашних туфлях. Они жили на четвертом этаже большого дома по улице Вовилье, нижний этаж которого занимало кафе с сомнительной репутацией. Неблагодарность Сарьетты окончательно испортила характер г-жи Лекер, и она поносила племянницу самыми непотребными словами. Они рассорились: тетка совсем ожесточилась, а племянница вместе с г-ном Жюлем выдумывала про нее разные небылицы, которые он распространял в павильоне масла. Гавар находил, что Сарьетта забавная девчонка, он благоволил к ней и при встрече трепал по щечке: она была такая пухленькая, такая вкусная…

Как-то после обеда Флоран сидел в колбасной, усталый от утренней беготни по городу в тщетных поисках работы, когда вошел Майоран. Этот рослый парень, по-фламандски дородный и добродушный, пользовался покровительством Лизы. По ее словам, он был малый незлобивый, немного блажной, сильный, как лошадь, и особенно примечательный тем, что у него нет ни отца, ни матери. Именно она и определила Майорана на место к Гавару.

Лиза сидела за прилавком, раздраженная тем, что Флоран наследил своими грязными башмаками на бело-розовом плиточном полу колбасной; дважды уже она вставала и посыпала пол опилками. Она улыбнулась вошедшему Майорану.

– Господин Гавар, – сказал он, – послал меня спросить вас…

Тут он сделал паузу, огляделся по сторонам и понизил голос.

– Он мне строго-настрого приказывал подождать, пока никого не будет, и тогда повторить то, что он велел мне выучить наизусть: «Спроси их, нет ли какой опасности и могу ли я прийти потолковать с ними насчет того, что они знают».

– Скажи господину Гавару, что мы ждем его, – ответила Лиза, привыкшая к таинственным повадкам продавца живности.

Но Майоран не уходил; он замер в восхищении перед прекрасной колбасницей, выражая простодушную покорность. Видимо тронутая этим немым обожанием, она спросила:

– Нравится тебе у господина Гавара? Он человек неплохой, старайся хорошенько ему угодить.

– Да, госпожа Лиза.

– Вот только ведешь ты себя неприлично; я опять видела вчера, как ты ходил по крышам на рынке; и ты водишься с шайкой каких-то оборванцев и оборванок. Ты теперь взрослый, уже мужчина; надо как-никак подумать о будущем.

– Да, госпожа Лиза.

Тут Лизе пришлось ответить даме, которая спрашивала фунт отбивных с корнишонами. Лиза вышла из-за прилавка и подошла к колоде в глубине лавки. Вооружившись тонким ножом, она надрезала им три отбивных от передней четверти свиной туши, затем занесла своей сильной обнаженной рукой резак и трижды ударила; раздались три отчетливых, коротких удара. При каждом ударе ее черное шерстяное платье чуть задиралось сзади, а под натянувшейся на лифе тканью проступали планшетки от корсета. С глубоко серьезным видом, с ясным взглядом и сжатыми губами, она собрала отбивные и неторопливо их взвесила.

Покупательница ушла; Лиза заметила, что Майоран стоит, очарованный тем, как точно и быстро она трижды опустила резак, и воскликнула:

– Как, ты здесь еще?

Он повернулся было, чтобы уйти, но Лиза его удержала.

– Послушай, – сказала она, – если я еще раз увижу тебя с этой маленькой грязнухой Кадиной… Не вздумай отпираться. Только сегодня утром вы вместе смотрели в требушинном ряду, как раскалывают бараньи головы… Не понимаю, что такому красивому парню, как ты, может нравиться в этой потаскушке, в этой вертихвостке… Ну, ну, ступай, скажи господину Гавару, чтоб пришел сейчас же, пока никого нет.

Майоран ушел, ничего не ответив, смущенный и приунывший.

Красавица Лиза продолжала стоять за прилавком, чуть-чуть повернув голову в сторону рынка; Флоран безмолвно разглядывал ее; он был удивлен, что она, оказывается, такая красивая. До этого момента он не видел ее по-настоящему, – он не умел смотреть на женщин. Сейчас она предстала перед ним царящая над снедью, разложенной на прилавке. Перед ней красовались на белых фарфоровых блюдах початые арлезианские и лионские колбасы, копченые языки, ломти вареной свежепросольной свинины, поросячья голова в желе, открытая банка с мелкорубленой жареной свининой и коробка с сардинами, из-под вскрытой крышки которой виднелось озерко масла; справа и слева, на полках, брусками лежали паштеты из печенки, затем сырки из рубленой свинины, простая нежно-розовая ветчина и копченый, красномясый йоркский окорок с толстым слоем сала. И еще были там круглые и овальные блюда, блюда с фаршированными языками, с галантином из трюфелей, с кабаньей головой, начиненной фисташками; и совсем рядом с Лизой, прямо под рукой, стояла нашпигованная телятина, а в желтых глиняных мисках – паштеты из гусиной печенки и зайца. Гавар все не шел, и Лиза переставила грудинку на маленькую мраморную полку в конце прилавка, выстроила в ряд горшочки с лярдом и говяжьим салом, протерла мельхиоровые чашки весов, пощупала остывающий духовой шкаф и снова молча устремила взгляд на рынок. Веяло пряным ароматом мясных яств, и Лиза, погруженная в незыблемое спокойствие, казалось, сама благоухает трюфелями. В тот день вся она дышала чудесной свежестью; белизна ее передника и нарукавников как бы продолжала белизну фарфоровых блюд, сливаясь с белизной ее полной шеи, а розовеющие щеки повторяли нежные тона окороков и прозрачную бледность жира. Чем больше смотрел Флоран на Лизу, тем больше одолевала его неловкость, тем больше тревожили ее безукоризненные стати; в конце концов он отвел глаза и начал разглядывать ее исподтишка в зеркалах по всем стенам лавки. Она отражалась в них со спины, спереди, сбоку; даже на потолке Флоран видел ее наклоненную голову, затянутые узлом на затылке волосы, прилизанные на висках тонкие прядки. Перед ним было целое множество Лиз, являвших взору свои широкие плечи, пышную мощь рук, круглую грудь, такую безмятежную и разбухшую, что она не будила никаких чувственных желаний и походила на живот. Флоран остановил взгляд на одном из профилей Лизы, который ему особенно понравился; он отражался рядом с Флораном в зеркале между двумя половинами свиной туши. Над всеми мраморными простенками и зеркалами, на крючьях длинных перекладин, висели свиные туши и полосы сала для шпиговки; в этом обрамлении из сала и сырого мяса профиль Лизы, статной и мощной, с такими округлыми формами и крутой грудью, казался изображением раскормленной владычицы этого царства. Прекрасная колбасница наклонилась и послала ласковую улыбку сновавшим в аквариуме на витрине двум красным

рыбкам.

Вошел Гавар и с многозначительным видом вызвал из кухни Кеню. Наконец все собрались; Флоран сидел, как и прежде, на своем стуле, Лиза за прилавком, а Кеню прислонился к свиному боку; тогда Гавар, присев на край мраморного столика, стоявшего наискосок от них, объявил, что подыскал место для Флорана, притом такое, что смеху не оберешься, да и правительство можно здорово облапошить!

Тут он осекся, увидев на пороге мадемуазель Саже, которая приоткрыла дверь лавки, едва заметила с улицы, что у Кеню-Граделей собралось за беседой многочисленное общество. Щуплая старушка в выцветшем платье, с неизменной черной хозяйственной сумкой на сгибе руки, в черной соломенной шляпке без лент, бросавшей на ее бескровное лицо загадочную тень, приветствовала мужчин полупоклоном, а Лизу – язвительной улыбкой. Мадемуазель Саже была старая знакомая, она по-прежнему жила в доме на улице Пируэт, где провела сорок лет своей жизни, существуя, конечно, на доход с маленькой ренты, о чем, однако, умалчивала. Правда, она как-то упомянула Шербург, добавив, что родилась там. А все прочее о ней так никогда и не удалось узнать. Она говорила о других, только не о себе, рассказывала все мелочи чужой жизни, вплоть до того, сколько сорочек люди отдают в стирку, и так страстно хотела проникнуть во все подробности существования соседей, что подслушивала под дверью и вскрывала их письма. Языка ее боялась вся округа – от улицы Сен-Дени до улицы Жан-Жака Руссо и от улицы Сент-Оноре до улицы Моконсей. Вооружившись своей черной сумкой, она уходила из дому на целый день якобы за покупками, но ничего не покупала, а разносила по городу свежие новости, была в курсе самых мелких происшествий и умудрялась таким образом держать в своей голове всеобщую и полную историю всех домов, этажей и жителей квартала. Кеню всегда считал ее распространительницей слухов о том, что дядюшка Градель умер на столе для разделки мяса; с этих пор Кеню и таил зло против нее. Впрочем, в истории дядюшки Граделя и семейства Кеню мадемуазель Саже, так сказать, собаку съела; она знала про них всю подноготную, могла разобрать их по косточкам, знала их «наизусть». Но уже недели две, как приезд Флорана выбил ее из колеи, она сгорала от любопытства в прямом смысле этого слова. Мадемуазель Саже заболевала, если в ее сведениях возникал пробел. И все же она могла поклясться, что где-то видела этого верзилу.

Остановившись перед прилавком, она стала обозревать подряд все блюда, приговаривая своим надтреснутым голоском:

– Уж и не знаешь, право, чего бы поесть. Как подойдет время обедать, так я слоняюсь, словно неприкаянная… Да и не хочется ничего… Может, у вас остались котлеты в сухарях, госпожа Кеню?

Не дожидаясь ответа, мадемуазель Саже приподняла крышку духового шкафа. С этой стороны обычно лежали колбасы из свиной печенки, сосиски и кровяная колбаса. Но духовка остыла, на решетке валялась лишь забытая тощая сосиска.

– Посмотрите с другой стороны, мадемуазель Саже, – предложила колбасница. – Кажется, там осталась одна котлета.

– Нет, это мне что-то не улыбается, – пробормотала старушка, но все-таки сунула нос и под вторую крышку. – Мне вроде как захотелось котлетку в сухарях, но к ночи это, пожалуй, слишком тяжело для желудка… Лучше бы что-нибудь такое, что не надо самой разогревать.

Она повернулась к Флорану, посмотрела на него, посмотрела на Гавара, который барабанил пальцами по мраморному столику, и улыбнулась, словно приглашая продолжить беседу.

– Почему бы вам не купить кусочек свежепросольной свинины? – спросила Лиза.

– Да, разве что кусочек свежепросольной…

Мадемуазель Саже взяла вилку с белой металлической ручкой, лежавшую на краю блюда, и стала рыться в мясе, тыкая в каждый ломтик свинины. Она постукивала вилкой, проверяя, велика ли косточка, переворачивала ломтики и так и этак, изучала какие-то отделившиеся волоконца розового мяса, повторяя:

– Нет, нет, это мне что-то не улыбается.

– Возьмите тогда кусочек языка, или свиной головы, или ломтик шпигованной телятины, – спокойно сказала колбасница.

Но мадемуазель Саже только мотала головой. С минуту она еще постояла, брезгливо морщась; затем, увидев, что окружающие твердо намерены молчать в ее присутствии и она так ничего и не узнает, мадемуазель Саже удалилась,

говоря:

– Нет, мне, видите ли, хотелось котлетку в сухарях, но эта у вас очень уж жирная… Загляну в другой раз.

Лиза нагнулась, следя за ней сквозь бахрому бараньих сальников на витрине. Она увидела, что мадемуазель Саже перешла дорогу и направилась к павильону фруктов.

– Старая хрычовка! – проворчал Гавар.

Теперь они остались одни, и он рассказал, какое место нашел для Флорана; тут получилась целая история. Один из его друзей, инспектор павильона морской рыбы Верлак, захворал настолько серьезно, что вынужден уйти в отпуск по болезни. Как раз в это утро бедняга говорил Гавару, что охотно сам предложил бы себе заместителя, чтобы сохранить свое место, если выздоровеет.

– Понимаете, – добавил Гавар, – Верлак вряд ли протянет и шесть месяцев. Место останется за Флораном. А должность выгодная… Да мы еще и полицию надуем! Ведь назначение на это место зависит от префектуры. А? Каково? Разве не уморительно, что Флоран будет получать деньги от этих шпиков?

Гавар хохотал от удовольствия, ему все это казалось очень смешным.

– Я отказываюсь, – твердо сказал Флоран. – Я поклялся ничего не принимать от Империи. Скорей околею с голоду, чем поступлю в префектуру. Это невозможно, Гавар, поняли?

Гавар понял и несколько смутился. Кеню опустил голову. Но Лиза, обернувшись к Флорану, пристально глядела на него; жилы на ее шее вздулись, грудь бурно вздымалась, распирая лиф. Однако едва она открыла рот, как в лавку вошла Сарьетта. Снова наступило молчание.

– А я-то хороша! – воскликнула Сарьетта, заливаясь своим нежным смехом. – Чуть было не забыла купить сала… Госпожа Кеню, нарежьте мне с дюжину ломтиков, только совсем тоненьких, хорошо? Это для жаворонков… Жюлю, видите ли, захотелось покушать жаворонков… Ах, это вы, дядюшка! Как

здоровье?

Сарьетта заняла всю лавку своими необъятными юбками. Она рассыпала улыбки, свежая, словно только что умылась молоком, с выбившейся сбоку прядкой, которую распушил ветер на рынке. Гавар взял ее руки в свои, а она со свойственной ей наглостью сказала:

– Держу пари, что вы говорили обо мне, когда я вошла. Так что же вы говорили, дядюшка?

Ее подозвала Лиза.

– Ну как, достаточно тонко?

Лиза осторожно нарезала ломтики сала на краю доски. Затем, завертывая их, спросила:

– Больше ничего не возьмете?

– По правде сказать, раз уж пришлось побеспокоиться, возьму, – ответила Сарьетта. – Дайте-ка мне фунт лярда… Ужасно люблю жареную картошку и на завтрак непременно съедаю на два су жареной картошки и пучок редиски… Да, да, фунт лярда, госпожа Кеню.

Колбасница положила лист плотной бумаги на чашку весов. Она набирала самшитовой лопаточкой лярд из горшочка под полкой, постепенно и неторопливо добавляя его к чуть расползавшейся кучке жира. Когда чашка весов с лярдом опустилась, Лиза сняла бумагу, сложила ее конвертом и быстро, кончиками пальцев, загнула уголки.

– Двадцать четыре су за лярд да шесть су за сало – это будет тридцать су… Больше ничего не возьмете?

Сарьетта ответила, что это все. Она заплатила за покупку, продолжая заливаться смехом, показывая зубы и заглядывая мужчинам в лицо; ее серая юбка съехала набок, из-под небрежно повязанной красной косынки виднелась белая ложбинка посредине груди. Перед уходом она шутя погрозила Гавару,

повторив:

– Так вы не хотите сказать, о чем говорили, когда я вошла? Я видела с улицы, как вы смеялись… Ох, и притворщик же вы! Смотрите, разлюблю!

Она вышла из лавки и бегом перебежала улицу. Красавица Лиза сухо заметила:

– Ее подослала мадемуазель Саже.

Все продолжали молчать. Гавар был обескуражен тем, как принял его предложение Флоран. Молчание прервала колбасница, дружелюбно сказав деверю:

– Вы не правы, Флоран, что отказываетесь от места инспектора… Вы-то знаете, как трудно добыть работу. Не в таком вы положении, чтобы привередничать.

– Я привел свои доводы, – ответил Флоран.

Она пожала плечами.

– Право же, это несерьезно… Вообще-то я понимаю, почему вы не любите правительство. Но это же не мешает зарабатывать себе на хлеб, уж больно глупо было бы… И потом, мой милый, император не такой уж плохой человек. Я ведь ничего не говорю, когда вы рассказываете о ваших страданиях. Но он-то разве знал, что вы ели заплесневелый хлеб и тухлое мясо? Этого человека на все хватить не может… Вы же видите, нам-то он не помешал заниматься своим делом… Вы несправедливы, нет, совсем несправедливы.

Гавару становилось все больше не по себе. Он не мог допустить, чтобы в его присутствии расхваливали императора.

– Ах, что вы, госпожа Кеню, – пробормотал он, – вы уж вон куда хватили. Все это та же сволочь…

– О! – с раздражением перебила его красавица Лиза. – Вы будете довольны, только когда вас вконец оберут и зарежут, – к тому и приведут все ваши бредни. Не будем говорить о политике, я рассержусь… Речь-то идет о Флоране, правда

ведь? Ну так вот, я и говорю, что он во что бы то ни стало должен принять место инспектора. Ты согласен со мной, Кеню?

Кеню, который не проронил ни слова, был весьма раздосадован неожиданным вопросом жены.

– Это хорошее место, – уклончиво заметил он.

Опять наступило неловкое молчание, и тогда Флоран сказал:

– Прошу вас, не будем об этом говорить. Мое решение твердо, я подожду.

– Подождете! – вскрикнула Лиза, теряя терпение.

Розы на ее щеках запылали. Расставив ноги, застыв как истукан, в своем белом переднике, она с трудом сдерживала готовое сорваться с губ грубое слово. Но вошла новая посетительница, которая отвлекла от Флорана ее гнев. Это была г-жа Лекер.

– Можно у вас получить полфунта холодных закусок по пятидесяти су за фунт? – спросила она.

Сначала г-жа Лекер притворилась, что не заметила зятя; потом молча ему кивнула. Она оглядела с головы до ног всех трех мужчин, явно уверенная, что застала их за секретным разговором, – уж очень нетерпеливо ждали они ее ухода. Кумушка в плохо сидящей юбке, с длинными паучьими руками, которые она сцепила под передником, чувствовала, что помешала; от этого она стала еще неуклюжей, еще злее. Она кашлянула.

– Уж не простужены ли вы? – осведомился Гавар, которого тяготило молчание.

На это последовало весьма сухое «нет». Кожа у нее на скулах была натянутая и кирпично-красная, а скрытый жар, опаливший веки, говорил о какой-то болезни печени, питаемой приступами завистливой злобы. Повернувшись к прилавку, г-жа Лекер следила за каждым движением Лизы, отпускавшей ей закуски, подозрительным взглядом покупательницы, которая заранее убеждена, что ее обвесят.

– Не надо сервелатной колбасы, – сказала она. – Я ее не люблю.

Лиза взяла острый нож и стала нарезать простую колбасу. Затем перешла к копченому и простому окорокам и, слегка согнувшись, не сводя глаз с ножа, нарезала нежную мякоть от того и от другого. Ее пухлые ярко-розовые руки, легко и мягко прикасавшиеся к мясным яствам, приобрели особую гибкость, хотя и были толстыми, а пальцы – припухшими в суставах. Лиза пододвинула глиняную миску.

– Шпигованной телятины возьмете?

Госпожа Лекер, по-видимому, должна была основательно продумать этот вопрос, затем согласилась. Теперь колбасница нарезала мясо в глиняных мисках. Она набирала кончиком широкого ножа ломти шпигованной телятины и паштет из зайца. Каждый ломтик она клала на весы, посреди подложенной под него бумаги.

– А кабаньей головы с фисташками вы не дадите? – скрипучим голосом спросила г-жа Лекер.

Лиза вынуждена была отпустить ей и кабаньей головы с фисташками. Но торговка маслом становилась все требовательней. Ей понадобились еще два ломтика галантину: она-де это любит. Уже начиная раздражаться, Лиза нетерпеливо вертела в руках нож; напрасно она втолковывала ей, что галантин сделан с трюфелями и продается в другом наборе закусок – по три франка за фунт. Покупательница продолжала перебирать блюда, раздумывая, чего бы еще потребовать. Когда набор закусок был уже взвешен, колбаснице пришлось добавить к нему студня и корнишонов. Глыба студня на фарфоровой доске, имевшая форму савойского пирога, затряслась от грубого прикосновения разгневанной Лизы; и она так стиснула пальцами два больших корнишона, которые взяла в банке за духовым шкафом, что из них брызнул маринад.

– Всего двадцать пять су, так? – сказала, не торопясь уходить, г-жа Лекер.

Она отлично видела сдерживаемое раздражение Лизы и растягивала удовольствие, медленно вынимая из кармана свою монету, словно ее никак не найти было среди медяков. Исподлобья поглядывая на Гавара, она наслаждалась неловким молчанием, затянувшимся из-за ее присутствия, и

божилась про себя, что не уйдет, раз они вздумали с ней «в молчанку играть». Наконец колбасница сунула сверток ей в руки, и г-же Лекер пришлось ретироваться. Она удалилась, не добавив ни слова и окинув долгим, пытливым взглядом лавку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/emil-zolya/chrevo-parizha

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить